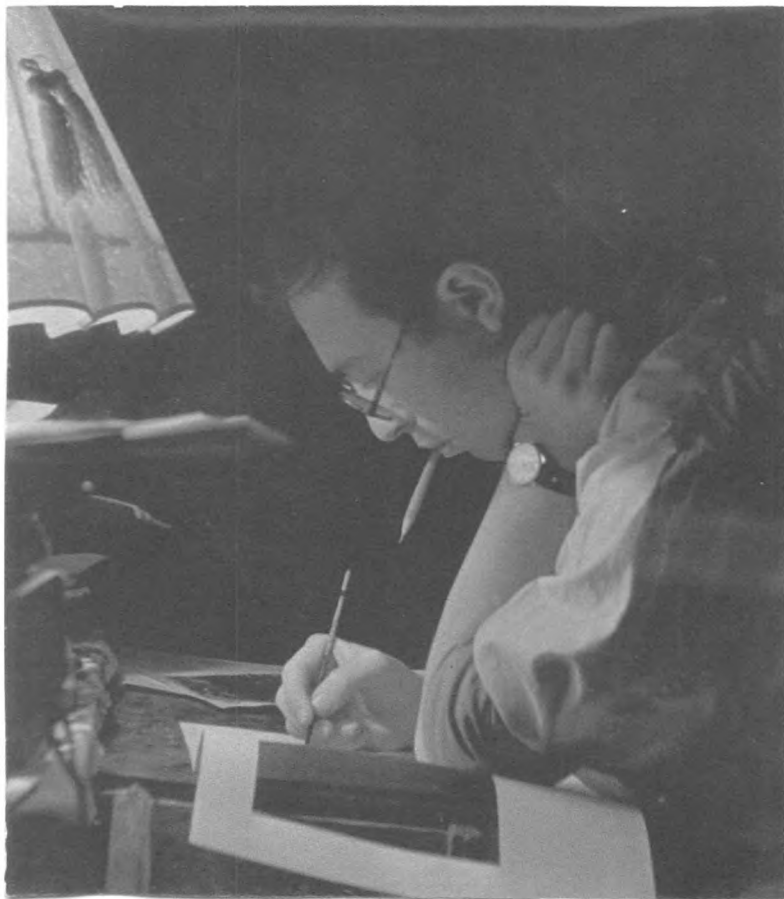


В. КОВЕНАЦКИЙ

Альбом
стихов,
рисунков
и гравюр
Владимира
Ковенацкого



культурный слой



B. Kohlenstein

Владимир Ковенацкий

**Альбом стихов,
рисунков и гравюр,**
составленный
Владимиром Орловым
(при участии Ивана Ахметьева)
на основе архива
Норы Григорьевой-Ковенацкой,
оформленный и свёрстаный
Ильёй Бернштейном,
изданный в **2007** году
«Культурной революцией»
и отпечатанный
типографией «М-КЕМ».

Редактор-составитель

В.Орлов

Художественное оформление

И.Бернштейн

Ковенацкий В.А.

К66 Альбом стихов, рисунков и гравюр.— М.: Культурная Революция, 2007.— 288 с., ил.

ISBN 978-5250060-15-8

В творчестве художника и поэта Владимира Ковенацкого (1938–1986), яркого выразителя культуры шестидесятых, слиты безудержная фантазия и барачный натурализм, горький юмор и тоска по недосягаемому, лукавый наив и пророческая мудрость. Большинство стихов и гравюр публикуются впервые.

© Культурная Революция. 2007

© В.Ковенацкий, наследники. 2007

© В.Орлов, И.Ахметьев, составление. 2007

© Ю.Мамлеев. 2007

© Н.Григорьева-Ковенацкая. 2007

© Ю.Стефанов, наследники. 2007

© Л.Кропивницкий, наследники. 2007

© И.Бернштейн, оформление. 2007

В.Ковенацкий, поэт и художник

60-е годы прошлого века были в культурном отношении весьма интересным временем. В тот период, когда на поверхности бушевали советско-антисоветские страсти, захватывая в свой круг писателей, поэтов, даже художников чисто социального плана, одновременно творилась в полуподполье «неофициальная культура». Она уходила своими корнями в русскую классику Серебряного века, который, кстати, дал России величайших поэтов и писателей XX века (от Блока до прозы Андрея Белого, Ремизова, Сологуба и Леонида Андреева). Период этот, как известно, образовал фактически Периклов век русской культуры, одной из сторон которой были мистические влияния и прозрения, углубление в последние уровни человеческого бытия, неутолённая вера, философские поиски. И именно эти традиции пыталась возродить та «неофициальная культура», которая концентрировалась вокруг Южинского переулка в Москве и некоторых других центров поэзии, литературы и метафизики.

К ней принадлежал поэт и художник Владимир Ковенацкий. Серебряный век был далеко позади, и между ним и нами легла пропасть дикого разрушения и тупого бессмысленного социального материализма. Надо было начинать сначала. Но этот вихрь духовного разрушения не мог не производить на тонкие, чувствительные, ранимые души людей искусства впечатление мирового апокалипсиса, пусть пока ещё малого.

Ковенацкий в своём творчестве на редкость точно изобразил это состояние. С одной стороны мир производил на него впечатление устойчивого бреда. Помню один его рисунок: на заднем плане — взрыв атомной бомбы, на переднем — сидит одинокий художник, бросил шляпу на землю и самозабвенно рисует взрыв. Мир всегда казался ему немного сдвинутым, мрачно-смешным и не очень уютным. Вместе с тем у Ковенацкого есть вполне реалистические работы, хотя, конечно, сюрреализм был более близок ему по духу. Однако и его реализм был весьма специфичен, он как художник неизменно сосредотачивался на наиболее гротескных сторонах жизни.

Как человек Владимир обладал на редкость тонкой ранимой душой, и понятно, что этот наш земной мир ошеломил его своей грубостью, несовершенством и скоротечностью жизни в нём.

Его герои — бродяги, алкоголики и пришельцы из иных миров. Их он по-своему нежно любил.

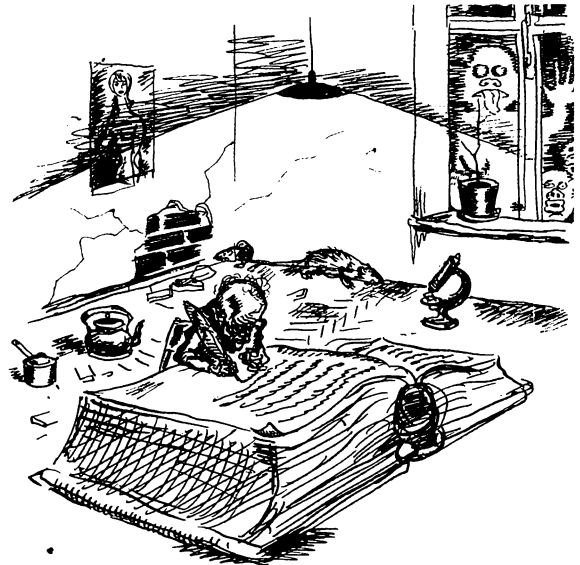
Что же искал он в этом падшем мире? Я не имею в виду его сложные философские искания, но в его творчестве, прежде всего в поэзии, отразилось то, что он желал для себя, к чему стремилась его душа. На мой взгляд, он искал уюта, даже метафизического уюта — уголка, в котором можно было бы отдохнуть, очнуться от «бредограда» современного мира. Для него существовали разные формы уюта, порой весьма своеобразные, ибо нередко «уют» приносили именно пришельцы из иных миров. Это мог быть персонаж из стихотворения о человеке с головой коня, который ночью посетил поэта. Могли быть и «маленькие тихие уродцы», которые привели поэту «лилового коня», чтобы «по звёздам не гадая» уйти в далёкое неизвестное.

В своём творчестве в целом Ковенацкий запечатлел весь хаос нашей жизни, выделив её некоторые болевые точки. Интуитивно он чувствовал присутствие чего-то иного в этой жизни. Такое впечатление, как будто, например, вы просыпаетесь один в большом загородном заброшенном доме и чувствуете, что вы не один, кто-то бродит по дому, неизвестно кто. То ли это человек, грабитель или сумасшедший, то ли странное животное, то ли вообще не жилец, полупривидение, полумонстр, выпавший бог весть откуда.

Но кто-то бродит.

Кто?

Юрий Мамлеев



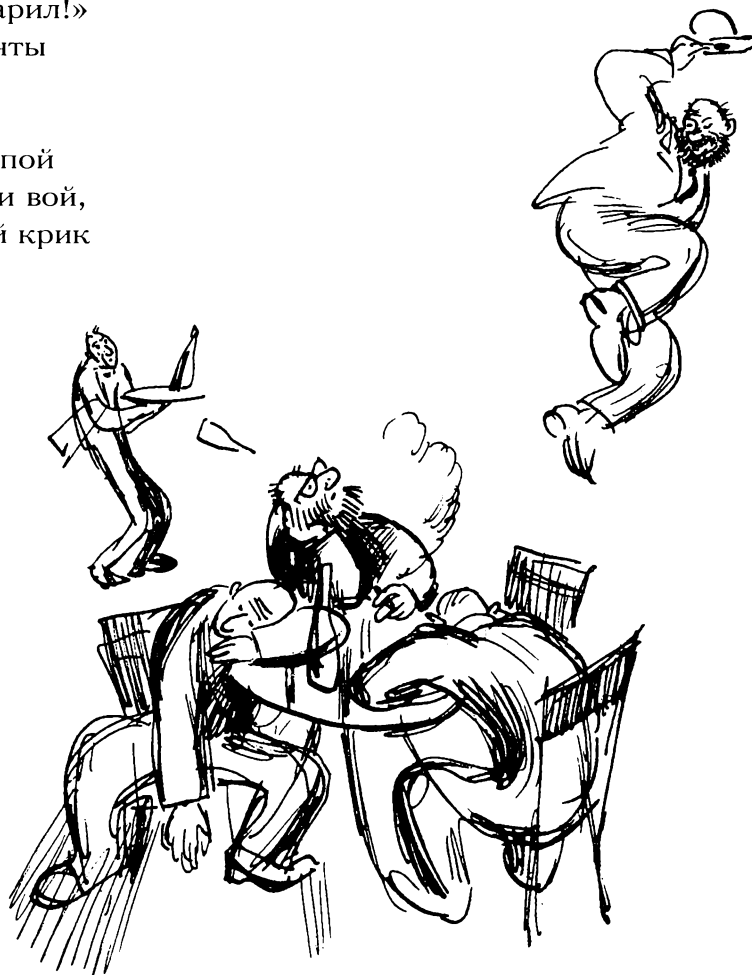
I

О человеке, воспарившем над толпой

От ветра веет сентябрём,
И тучи мочатся дождём.
Бежит промокшая толпа —
Шумна, криклива и тупа.

Несётся из вздетых рыл:
«Он воспарил! Он воспарил!»
Темнеют над толпой зонты
И крючковатые персты.

А он — летит по-над толпой
Под непрерывный визг и вой,
В ответ на возмущённый крик
Ехидно высунув язык.



Деревья

Деревья ввысь устремлены,
Напоены вечерней смолюю.
Они, как чёрные слоны,
Идут по снежному раздолью.

Меж их корявых чёрных ног
Я пробираюсь одиноко.
Скрывает сучьев потолок
Луны прищуренное око.



В тихом омуте водятся черти.
Коль не верите — лунной порой
Вы моё сообщенье проверьте,
Притаившись за старой ветлой.

Вы услышите взвизги и всплески,
Вы увидите мокрую шерсть.
На корягу в серебряном блеске
Вам захочется с ними присесть.

Вы поймёте, как скучен и жалок
Наш привычный уклад городской
Без прозрачного смеха русалок,
Без луны над туманной рекой.

И достанет тоска до печёнки,
И захочется вам, как и мне,
Чтоб на пальцах росли перепонки,
Чтобы вздыбилась шерсть на спине...

Там, где ив наклонённые ветви
Серебристую ловят струю,
В тихом омуте водятся черти,
Я вам честное слово даю!

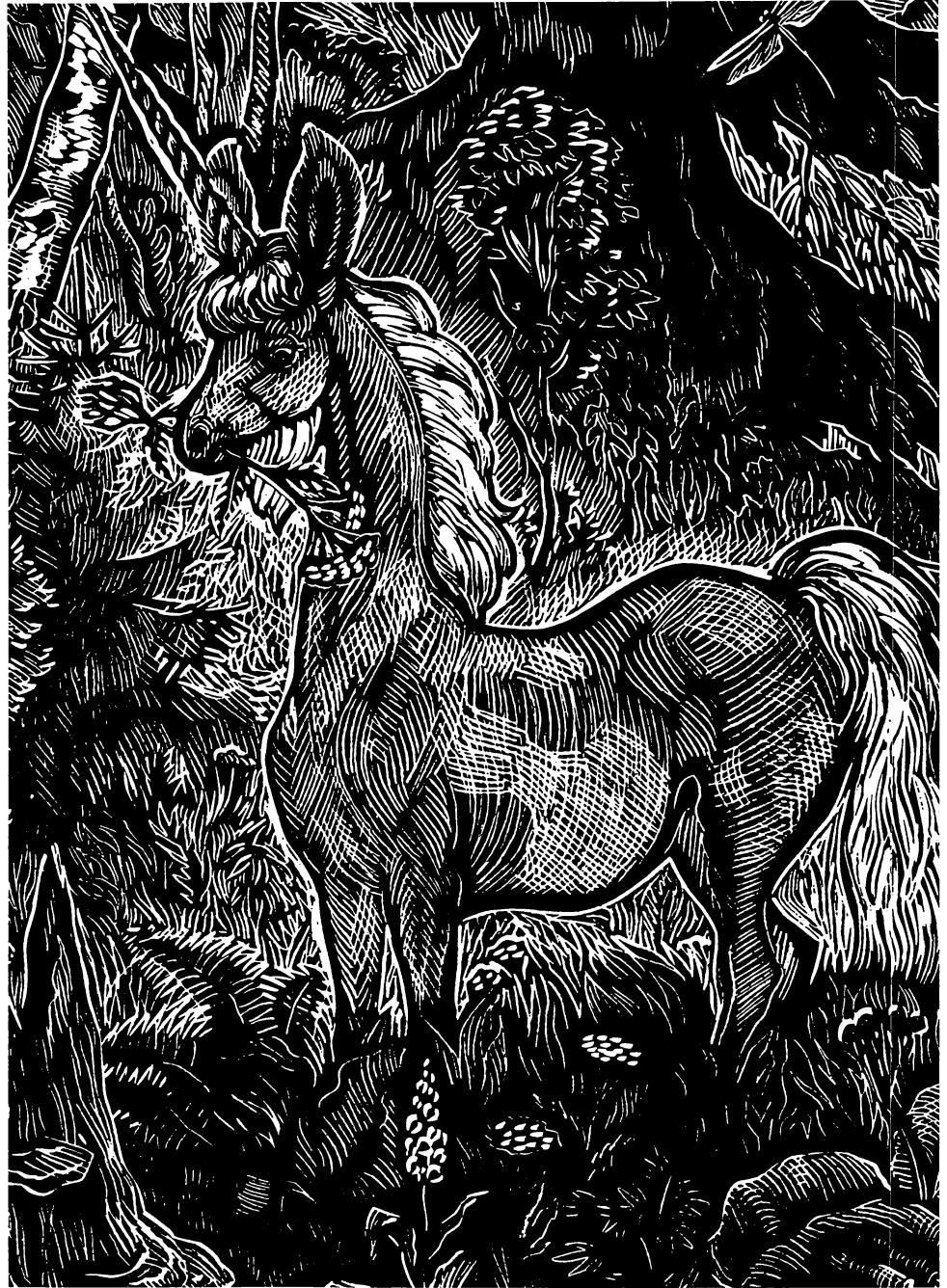
Гроза

Сонмы дьяволов косматых
Пролетают в небесах.
Лапам сосен не поймать их,
Мне — не счесть, не описать.

Знаменуют час расплаты
Молний белые штыки.
Сонмы дьяволов косматых.
Трубы ветра. Гул реки.



Р. Колеманский 61



Олень

Сшибаются со стуком деревянным
Рога. И мышцы яростных быков
Напряжены до дрожи. Вешний зов
Их свёл в бою над озером туманным.

Наскоков их бесстрашие и свободу
Благословил единый в мире гнев.
И старший пал, от раны ослабев,
В подвижную, дымящуюся воду.

И входит луч, трепещущий, как пламя,
В рассвета голубую полутьму,
И важенка достанется ему, —
Носящему кровавыми боками.

Но в зарослях, лишь почками одетых,
Приладившись на рухнувшем стволе,
Стрелок угрюмый приложил к скуле
Захватанное ложе арбалета.

Смерть оленя

Краснорожий, ражий, рыжий,
В шляпе с пером,
К стаду он подполз поближе,
Лёг за кустом.

Левый глаз сомкнулся щелью,
Правый не сморгнул,
Прокатился по ущелью
Выстрела гул.

В чашу прянули олени,
Гром в ушах.
Опустился на колени
Молодой вожак.

А потом всем телом набок
Грузно лёг.
На ветру дымился слабо
Крови ток.

Умирал ветвисторогий
Стройный бык.
Эхом приняли отроги
Смертный крик.

Краснорожий, ражий, рыжий,
В шляпе с пером
Из своей засады вышел
С длинным ножом. . .

Повис багровый лунный круг
Над жутким лесом подсознания.
Не выпускай ружья из рук —
Вот поступь тигра, вот кабанья.

Патроны к бою приготовь!
Смотри — в редеющем тумане
Моя убитая любовь
Лежит на сумрачной поляне.

Тиха улыбка мёртвых уст.
Горька давнишняя потеря.
И птичий крик, и сучьев хруст
Под лапой мерзостного зверя.



Дебри

Я забрёл в ужасные дебри
И блуждаю во тьме чащоб,
Где и старые, мудрые вепри
Со своих сбиваются троп.

Заалел за решёткой сучьев
Еле видимый диск луны.
Крикнул филин в тиши дремучей —
Крики жалобны и страшны.

Может, это совсем не филин,
Может, леший иль кто другой?
Я дорогу найти бессилён.
Мох качается под ногой.

Метель

Я ей сказал: «Люблю!», и подбородком
Уткнулся в серый школьный воротник.
Но звонким смехом, глупым и коротким,
Был перерезан ожиданья миг.

Я вышел в ночь, зажавшую упруго
Луны светильник в ледяной руке.
Мне что-то в уши бормотала выюга
На чуждом марсианском языке.

Мне было одиноко и бездомно,
В ногах, как кошка, путалась метель.
Завьюженная ночь была огромна —
Бездарная двухцветная постель.

Я ночами летаю над городом,
Сдвинув на ухо синий берет.
На пальто моё с поднятым воротом
Льётся узкого месяца свет.

Вот мой город, огромный и сумрачный!
Светит месяц как тусклый ночник.
Здесь любил я прелестную дурочку,
Здесь к армейской ушанке привык.

Здесь под властью педантов напыщенных
Претерпел я большие труды.
Кроны вязов вразмывку написаны,
И блестят зоопарка пруды.

Узкий месяц так хрупок — не тронь его!
В золотых облаках потолок,
Я отсюда, с полета вороньего,
Вижу утра грядущего скок.



На растущем

В. Кобзарев

Дорога в Никуда

Луной щербатолицей
Неярко озарён
И лужами искрится
Накатанный гудрон.

В кюветах, точно в трюмах,
Качается вода.
Лежит в полях угрюмых
Дорога в Никуда.

Полны кюветы эти
Следами тьмы и лжи.
Невскормленные дети,
Обоймы и ножи.

Тела автомобильи,
Ни стёкол, ни колёс,
Бутылки в изобильи
И всяческий отброс.

Кто по дороге шёл той,
Запомнит ветра стон,
И под луною жёлтой
Искрящийся гудрон.

И указатель справа
Прочтёшь не без труда,
Написано коряво —
Дорога в Никуда.



Сон

Приснилось мне — я прекрасный принц,
На мне золотой камзол,
И утром мне подадут коня,
Белого, как молоко.

Приснилось мне, что лунная ночь
Дыханьем любви полна,
И тело прекрасное, как любовь,
Целую я в душной мгле.

Когда я проснулся, я понял вновь,
Что день безнадежно сер,
Что я инвалид без обеих ног
И был накануне пьян.



Отчаяние

Я только грязная кошма
Для зада тяжкого беды.
Вся жизнь моя – сплошной кошмар,
Сухое русло без воды.

И лес проклятий сучья сплёл,
Меня замкнув в своем кругу.
А у костра своей любви
И рук погреть я не могу.

Неудача

Мой бок прострелен вражьей пулей,
И бич тоски безмерно жгуч,
И диск луны, как глаз акулий,
Глядит из волн холодных туч.

Я умираю одиноко.
Я отойду, не увидав,
Как пурпур, хлынувший с востока,
Зальёт простор шуршащих трав.

Ах, для того ли, для того ли
Рванулся я к судьбе иной,
Чтоб умереть в тоске и боли
Под этой маленькой луной?

Горы Каф

Далеко, за край Фарангистана,
Гибели в пустыне миновав,
Ты пройдёшь, и за снастями встанут
Цепи гор, и это горы Каф.

Бурые зазубренные пики
Растирают синий небосвод.
Диких дэвов, джиннов черноликих
Здесь в пустыне скопище живёт.

Здесь живут и ласковые пэри —
Каждая как солнце хороша.
В сонной плоти пробивая двери,
В этот край уносится душа,

И за горы, в райские поляны,
В светлый мир без горя и забот;
Вот что там, за гладью океана —
Знай, нетерпеливый мореход.

Отплытие Синдбада

Закачались реи над причалом.
Направленья выбрав наугад,
Ранним утром, голубым и алым,
Отбывает в странствие Синдбад.

Он стоит на палубе и слышит,
Как орут матросы за спиной,
И простор зелёно-синий вышит
И усыпан солнечной казной.



Песня мореходов

Наш кораблик мал и жалок,
Истрепались паруса.
Нам вослед глядят русалок
Неподвижные глаза.

Звёзды сыплются на реи.
Никнут вымпелы в тоске.
Страшный рёв морского зверя
Прокатился вдалеке.

Ничего у нас не выйдет,
Скоро все пойдём ко дну.
Капитан наш спит и видит
Осиянную страну.



Острова мечты

Голубая страна воды,
На тебе не видны следы
И от тех, кто тобою взят,
Птицы-вести не прилетят.

Затонули их корабли,
Рыбы брюха их погребли,
И оружие их поглотил
В донной тьме неподвижный ил.

Гул прибоя к печали глух,
Превратятся жёны в старух,
Возмужают их сыновья,
О походе тоску тая.

Их заманит тропа отцов,
Их замучит неясный зов,
Опротивеет твердь земли
Под ногами, а не вдали.

И настанет для них страда,
И они уплывут туда,
Где горят облаков пласты,
Чтоб найти острова мечты.

Аппендицит

Венчает корпус корабля
Коня изогнутая шея.
С друзьями трапезу деля,
Лежу в палатке на корме я.

Мой фиолетовый наряд
Цветами заткан золотыми,
И капитана хитрый взгляд
Бровями оттенён седыми.

Он мне рассказывать готов
О сделке выгодной в Сидоне,
О важной поступи слонов,
О восхитительном притоне...

Сейчас померкнут краски дня,
И наподобье катафалка
На операцию меня
Свезёт больничная каталка.

Но выйду я из-под клинка,
И жизнь вдохну я, словно розу.
Мне вкатит нежная рука
Успокоительную дозу.

И вновь сияет океан
За веток изгородью чёрной,
И финикийский капитан
Меня зовёт на борт узорный.

Шествие в красных колпаках

Е. Головину

Транспорта немые вереницы
Ждали не минуту и не две.
Двинулось по улицам столицы
Шествие с оркестром во главе.

Были в нём уроды и пижоны,
Зрелые мужи и старики,
И во мгле по всей длине колонны
Красные пылали колпаки.

Марш старинный, нежный и бравурный,
Разорвал реальности туман,
И о жизни нудной и сумбурной
Пожалели толпы горожан.

И, как расцветают на могилах
Нежные весенние цветы,
В душах импотентных и унылых
Вспыхнули чудесные мечты.

Но недолго это продолжалось:
Медь оркестра канула во тьму,
Кто-то прошептал: «Какая жалость!»
И никто не понял, что к чему.

Песня о жемчужной стране

Что-то мне сегодня не поётся,
Неуютно, сумрачно внутри.
За окном людишки-идиотцы,
Чёрные деревья, фонари.

За стеной мужчина краснорылый
Бьёт по пьянке жирную жену.
Улететь бы птицей синекрылой
В синюю жемчужную страну.

Смята бирюзовая трава там
Шествием лазоревых слонов,
Встретится в лесу голубоватом
Нежная подруга детских снов...

Хорошо покойникам и пьяным.
Замерла над крышею луна.
За тяжёлым каменным туманом
Не видна жемчужная страна.



В. Кобелев 63

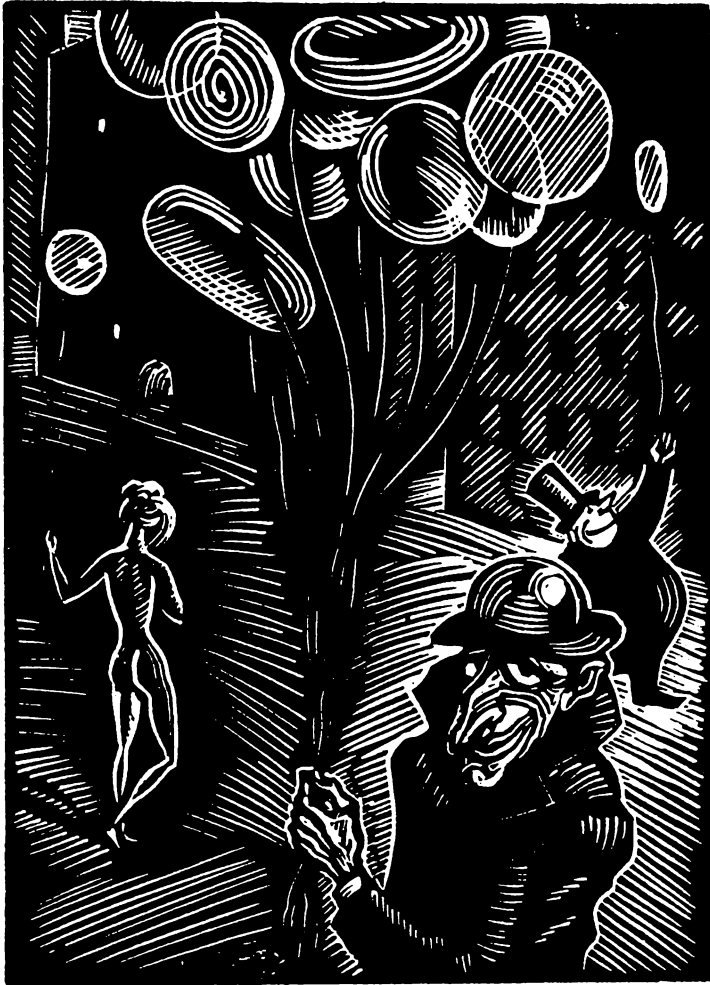
Задавили

Наливался город полумраком,
Солнышко убралось на ночлег.
На асфальте, залитом краплаком,
Медленно кончался человек.

Люди ужасались и галдели.
Врач сказал им, что надежды нет.
И сирени гроздя лиловели —
Видно, нёс он девушке букет.

Кровь замыли. Кончилась картина.
Снова транспорт ринулся из тьмы.
А водитель пьяный был, скотина,
Знать, не миновать ему тюрьмы.

Жирные, с прыщавыми носами,
Люди шли в неоновой крови.
Девушка стояла под часами —
Всё ждала сирени и любви.

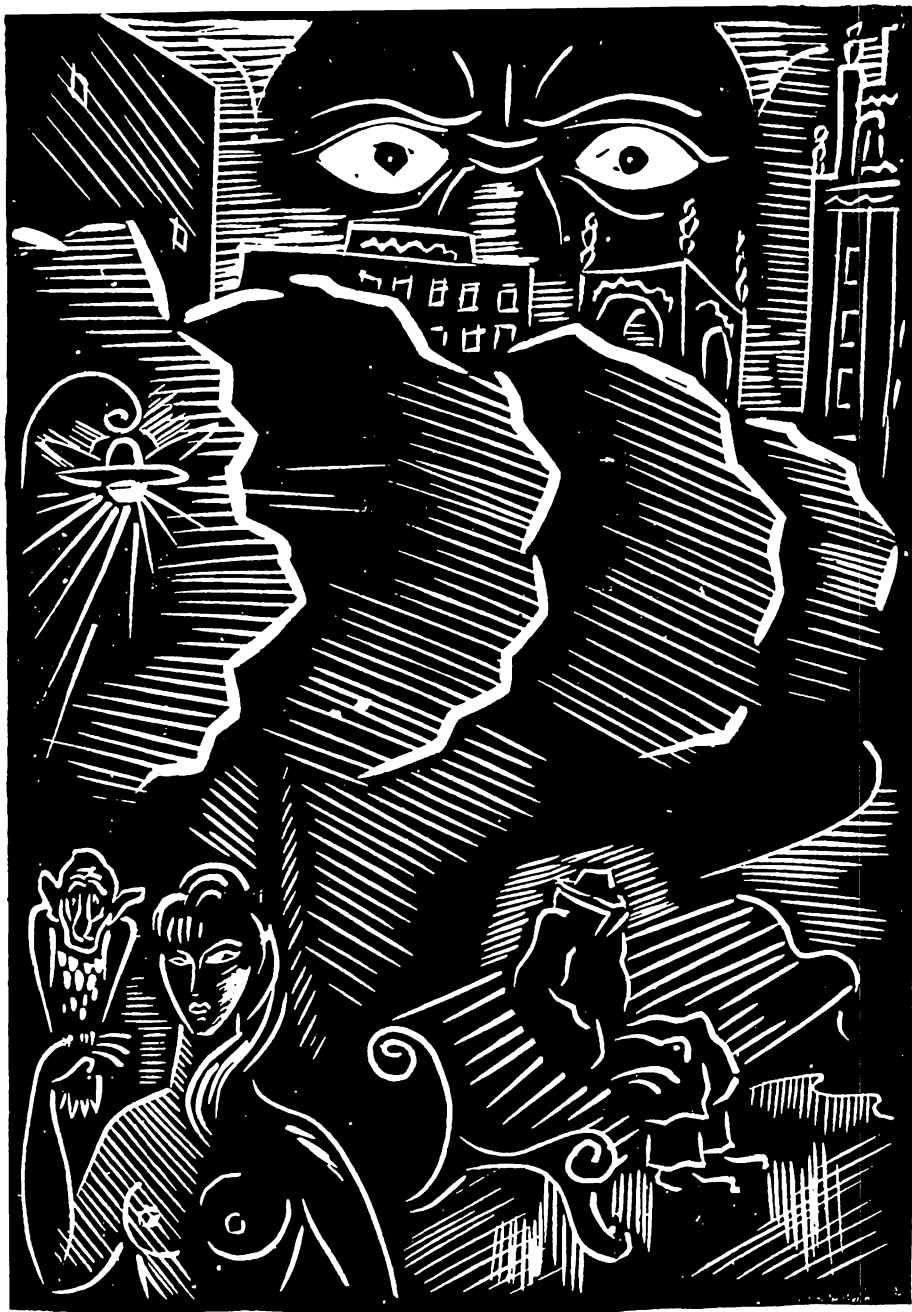


Было всё кошмарно и сурово.
Расплывался ядовитый свет.
Девушку без всякого покрова
Повстречал на улице поэт.

Падал снег на маленькие груди.
В голубых миндалинах очей
Отражались вывески и люди,
Облики блядей и стукачей.

След заката меркнул, угасая,
Трепетали флаги на ветру.
Шла она по слякоти босая,
Точно по персидскому ковру.

Рёв моторов, призрачные тени,
Ядовитый, разноцветный свет...
В новых брюках рухнул на колени
И заплакал радостно поэт.



Песня ночного города

Как злые безобразные наросты
Громады зданий тянутся из тьмы.
Над городом кружащиеся звёзды
Поют зауспокойные псалмы.

Течёт вода под чёрными мостами,
И в подворотнях затаился ад.
Накрашенно-кровавыми устами
Затасканные призраки манят.

И медленно стучат от вожделенья
У памятников бронзовых сердца,
И это час чьего-нибудь рожденья,
И это час чьего-нибудь конца.

Когда-нибудь я тоже околею,
И вздрогнут звёзд печальные лучи,
И мне на сердце белую лилею
Положит ангел в городской ночи.

Ночной город

Ночного города кошмары
Переживаю вновь и вновь:
Луна, пустые тротуары,
Неразделённая любовь.

Слепы глаза атлантов дюжих,
В их мощных торсах спрятан крик,
И в ледяных апрельских лужах
Я вижу свой печальный лик.

По крышам скачут сны, как белки,
Чернеют буквы на стене,
И диск летающей тарелки
Висит со мною наравне.

Решётки, каменные грани,
Столбы фонарные, кресты,
А там, в тарелке, неземляне
Снимают город с высоты.

Течёт в бетоне и граните
Густая чёрная вода...
О, заберите, заберите
Меня отсюда навсегда!

Колыбельная песня

В небе ангелы уснули,
В преисподней черти спят.
Ходит месяц в карауле,
Крыши мокрые блестят.

Опустились веки-шторы,
В порт вернулись корабли,
Притомились даже воры,
Проститутки спать пошли.

Засыпай, мой друг, скорее,
Ни забот, ни горя нет.
Мокрый плащ на батарее,
Под подушкой пистолет...

Ходит месяц в карауле,
Крыши мокрые блестят.
В небе ангелы уснули,
В преисподней черти спят.



Неуютно, тоскливо и гадко.
В подворотнях стоят упыри.
Бредит похотью ночь-психопатка
Далеко, далеко от зари.

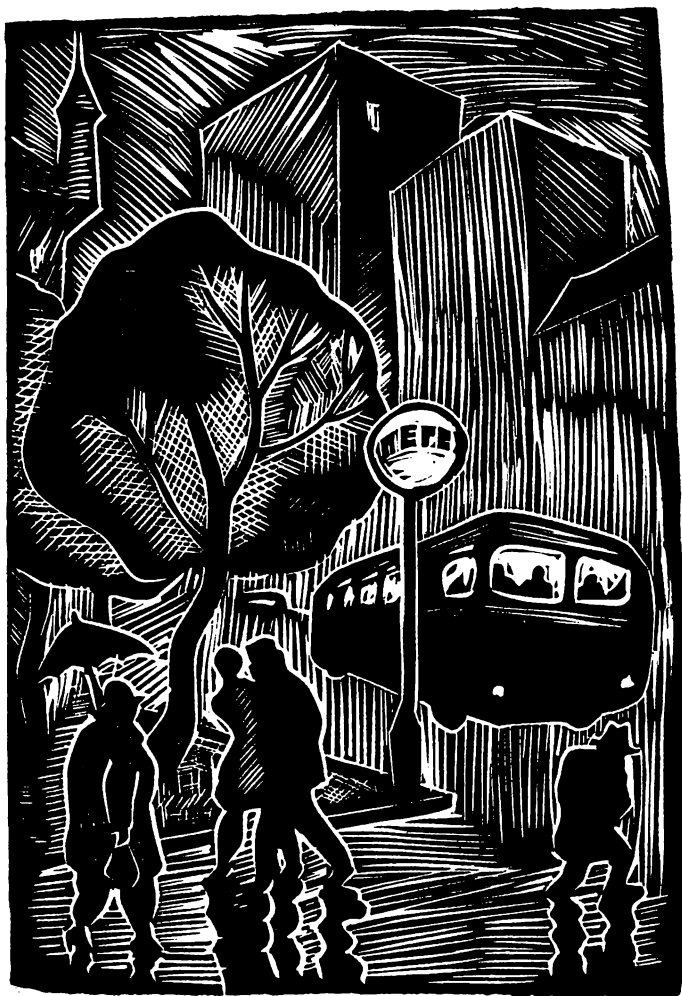
Узкий месяц в сиянии тусклом —
Как предвестник грядущей беды.
На асфальте заплёванно-гносном
Я целую Её следы.



Я шёл без дороги и знака
В пустынном багровом краю,
И ветер трепал как собака
Худую одежду мою.

И чёрного дерева ветки
Качались на грани земной,
И агент загробной разведки
Следил неотступно за мной.

И туч фиолетовых лодки
Тонули в закатной крови,
И нёс я в котомке ошмётки
Единственной в мире любви.



Солдатами ночи расстрелян закат.
Потушен кровавый прожектор.
Довольно! Я вылил в окно суррогат —
Креплённый сивухою нектар.

Я трезвый прощальную ночь проведу,
Блуждая по улицам синим.
Здорово, двойник! У луны на виду
Мы вместе умом пораскинем.

Обсудим, что делать, куда рассовать
Осколки вчерашней зари нам.
И как этот город забытый назвать —
Берлином, Москвой или Римом.

Песни из драмы «Бредоград»



Вступление

Есть в мире город Бредоград.
Там люди зlobны и жестоки.
Там автотранспорта потоки
Вонзают фары в ночи ад.

Не видно утренней зари
Там за рядами зданий чёрных.
Там на уснувших заключённых
Слетают сны, как упыри.

Там в полуночных кабаках
Горланят хриплые певицы,
И зрелищ смерти жаждут блицы
У репортёров на боках.

Там в ожидании наград
Шныряют шустрые шпионы,
И потрясают чемпионы
Обильем мышц... О, Бредоград!

Марш творческой интеллигенции

Пусть над городом по праву
Грянет нашей песни медь!
Лучше петь начальству славу,
Чем в концлагере сидеть!

Припев:

Все в ногу,
Раз,
Два,
Три!
И никаких сомнений,
И никаких течений!
Наш путь определён —
Порядок!
Закон!

Нас не точит грусти язва,
Есть и кровля и еда.
Пессимизма и маразма
Не допустим никогда!

Припев.

Трубы, трубы, трубы гряньте,
Вторая песне на устах!
Все мы служим, служим пропаганде
Не за совесть, а за страх!

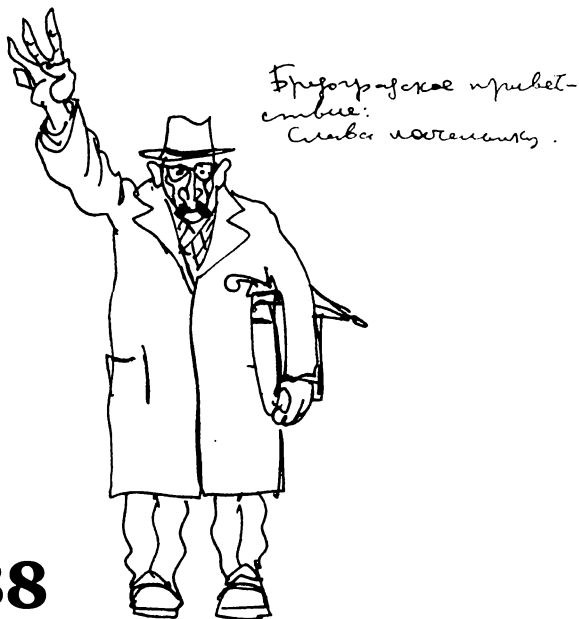
Припев.

Песня верноподданных горожан

Слава, слава доблестным солдатам,
Стыд и смерть мятежникам проклятым!
Тот, кто смел спокойствие нарушить,
Будет раздавлен правительственной пятой!

Мы эпохе не бросаем вызов,
Перед сном мы смотрим телевизор.
Мы своей зарплатою довольны,
Только с законными жёнами живем!

Мы всегда начальство почитаем,
Мы крамольных книжек не читаем!
Слава, слава доблестным солдатам,
Суд, заключенье и смерть бунтовщикам!



Песня проституток

Растеклась толпа, редая,
Стали улицы пусты.
Мы ночные орхидеи,
Ароматные цветы.

Наши пёстрые наряды
Обволакивает мгла.
Как всегда, полны отрады
Наши стройные тела.

Подходи, кто страстен спьяну,
И монеты приготовь,
Если выйдет по карману
Тротуарная любовь!

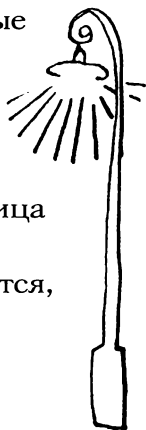
Песня наёмных убийц

Скрывают зданья тёмные
Туманных звёзд пути.
Убийцы мы наёмные,
Нам только заплати.

Коль предпочла красавица
Соперника в любви —
Он в мир иной отправится,
Лишь имя назови.

А если в учреждении
По службе ходу нет —
Поможет в затруднении
Наёмника кастет.

Ребята мы надёжные,
Большие мастера.
По сердцу нам тревожная
Полночная игра!



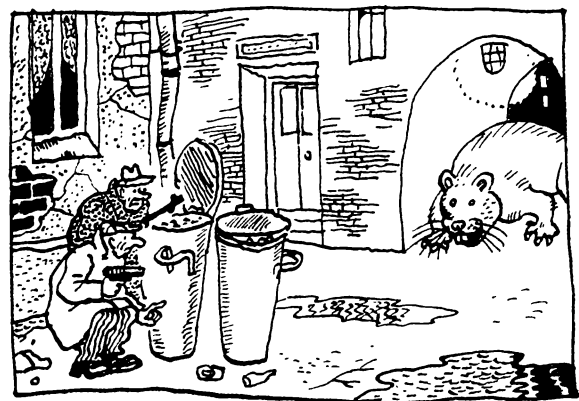
Песня крыс

Мы крысы, крысы, крысы,
Мы духи темноты.
Длинны и красно-лысы
Крысиные хвосты.

Мы жители помоек,
Дощатых нужников.
Наш дух свиреп и стоек,
Свободен от оков.

Людишкам бед немало
От наших злых резцов.
Мы жрём сухарь и сало
И тухлых мертвецов.

Мы пляшем ночью синей,
Мы лапками сплелись.
Да здравствует крысиный
Экзистенциализм!



Песня воров

Окна догорели, здания в тумане.
Сладкий час добычи, наступи!
Пистолет на взводе, острый нож в кармане,
Мы идём, как волки по степи.

Пожелай нам, город, воровской удачи,
В нашем трудном деле помощи.
В тёмных переулках, в подворотнях пряча
Наши осторожные шаги!



Песня солдат

С чётким барабанным боем,
Шаг, как песню выводя,
Мы идём парадным строем
Мимо нашего вождя.

Всё нам ясно в смутном мире:
Встанем с утренней трубой,
Будет нам обед в четыре,
И в одиннадцать отбой.

Услыхав приказа слово,
Мы рванёмся в тот же миг.
В неприятеля любого
Всадим пулю или штык!

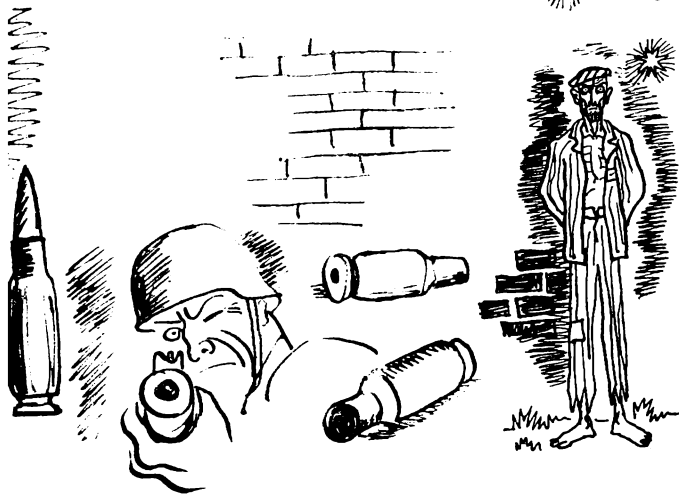


Песня узников

Не была ты, жизнь, желанна
Так свирепо, как сейчас.
На рассвете, в час тумана
На расстрел уводят нас.

Мы, любившие свободу
Больше жизни и жены,
Станем, извергу в угоду,
У обшарпанной стены.

На земле темно и сыро,
Небо в редком серебре...
Из чудовищного мира
Мы уходим на заре.



Марш шпионов

Мы проходим в толпе незаметные,
Скрыв оружие в карманах пальто.
Собираем мы факты конкретные,
Не уйдёт от надзора никто.

Припев:

Тобою, шпион,
Покой сохранён.
Общественный покой —
Твоей надёжною рукой.



Коротаем мы ночи бессонные
В подворотне за сеткой дождя.
Мы вотрёмся в кружки потаённые,
Потихоньку в доверье войдя.

Припев.

Очень трудное дело шпионово,
Но мы созданы не для того ль?
Кто не любит начальства законного,
За решётку, голубчик, изволь!

Припев.

Песня восстания

Рассвет от нашей ярости
Туманен и кровав.
Позор — дожить до старости,
Свободы не узнав!

Припев:

Вставайте, духом дюжие,
Вперёд — и в свой черёд
Возьмётся за оружие
Истерзанный народ!

Верёвка ждет чудовище
И всех его друзей.
Внутри его становища
Устроим мы музей.

Припев.

Довольно слов и мистики!
Как пули, до конца
Законами баллистики
Направлены сердца!

Припев.



II



Простой и великий

(Стихи о Сталине)

Он глядел пронзительно и строго:
Хочешь жить — перечить не моги!
За стенами мрачного острога
Умирая, корчились враги*.

Топал караул у Мавзолея.
Бухали кремлёвские часы.
Над страной, топорщась и седея,
Нависали грозные усы.

Возвышались статуи тирана.
Славословьям не было конца.
Я был маленький. Мне было рано.
И его любил я как отца.

Я ехал в автобусе смрадном,
Был всюду советский народ,
И утром, таким безотрадным,
Весь город был взят в оборот.

А люди спешили, спешили,
Их фон оттенял снеговой,
И зданий чудовищных шпили
Вздымались над тёмной Москвой.

Дымились дома и сугробы,
И веяли грустные сны,
Но профиль тирана суровый
Был сколот в метро со стены.

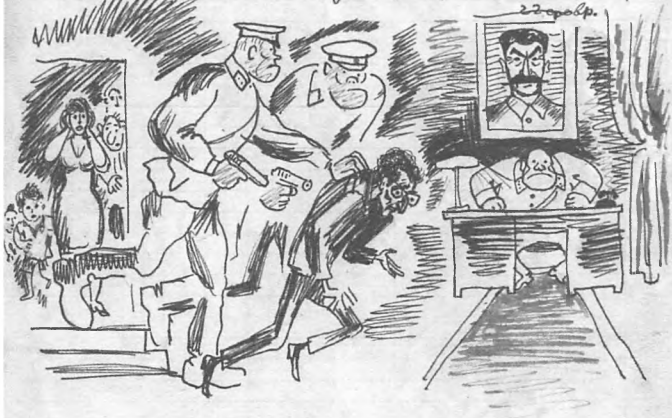
* народа

Явились ночью. Подняли с постели
И с пистолетом в спину увели,
И долгие полярные метели
Этапный путь привычно замели.

Мерцающими сполохами рея,
Нависла ночь — отчаянья сестра.
«Горька ты, доля русского еврея!» —
Воскликнул узник, греясь у костра.

Явились ночью. Подняли с постели
И с пистолетом в спину увели,
И долгие полярные метели
Этапный путь привычно замели.

Мерцающими сполохами рея,
Нависла ночь — отчаянья сестра.
«Горька ты, доля русского еврея!» —
Воскликнул узник, греясь у костра.



Мой друг приехал из Норильска.
Там тундра и холмы низки.
Там бог не побоялся риска
Перемахнуть предел тоски.

Там звёзды мёрзнуть не охочи,
Там ночь пустынна и строга,
Там, точно зверь, в темнице ночи
Вопит свирепая пурга.

Там вид повсюду одинаков,
И в этой области не зря
Чернеют окнами бараков
Колючие концлагеря.

Они пусты, загоны муки,
Там стоны не слышны ничьи.
И от невинной крови руки
Не отмывают палачи.

Лишь путник, проходящий мимо,
Взгрустнёт иль запоёт спьяна,
Припомнив страшного режима
Томительные времена.

Ленинский вальс

В Мавзолее, где лежишь ты, нет свободных мест.
И на площади играет духовой оркестр.
По брусчатке едут танки, тягачи ревут,
Твои бранные останки свято стерегут.

Встань, пройдишь по белу свету, лучший из людей!
Видишь, залил всю планету свет твоих идей.
Пусть продажные писаки источают яд —
Венгры, чехи и словаки нас благодарят.

Пусть твоё умолкло горло, ты живой всегда!
Над тобой лучи простёрла красная звезда.
В Мавзолее, где лежишь ты, нет свободных мест.
И на площади играет духовой оркестр.



В музее

В пустынном и гулком музее,
Средь ржавых кольчуг и тряпья,
На пушки и копья глаза,
Скитается юность моя.

Орут первобытные люди —
Их быт неуютен и хмур.
Прикрытые кружевом груди
Манят с пожелтевших гравюр.

А жизнь как при Грозном Иване.
От власти поблажки не жди.
Как волки на снежной поляне,
У трона грызутся вожди.

И ветер сибирской равнины
В музейный врывается мрак.
Держа на весу карабины,
Солдаты печатают шаг.

Псевдонародная песня

Ой вы, свисты метельные резкие,
Ой вы, марши, бомбёжки, бои!
Впереди — пулемёты немецкие,
Позади — пулемёты свои.

Много нашего брата навалено
В братских ямах в воде и на льду.
Мы умрём за любимого Сталина,
Остановим фашистов орду.

Ночь морозная, утро туманится,
Всходит нашей победы заря.
Немчура отошчала тянется,
Под конвоем идёт в лагеря.



Война и мир

Во время мира
Плачут из-за разбитой чашки,
А во время войны
Судьбы людей и городов
Разбиваются, как чашки.

Во время мира
Убитых исследуют криминалисты,
А во время войны
С убитых только снимают жетоны.

Во время мира
Девушка целуется в майских сумерках,
А во время войны
Её насилует целое отделение.

Война хуже, чем мир.

Нашествие

Закат над чёрным бором
Неярок, негоряч.
В метельном свисте скором —
Неуловимый плач.

Подворьем были новым
Уголья и зола.
Торчит в снегу лиловом
Монгольская стрела.

И ризы золотые
Из церкви у реки
Монголами Батыя
Увязаны в тюки.

Метель взывает трубно,
Морозный вечер хмур,
Рокочат глухо бубны,
Визжит трёхструнный хур.

Немолчно бьют копыта,
Пылают города,
На Русь идёт несыто
Великая беда...

Монголы

Монголы взяли старый город,
Ещё дымятся головни,
И у небес живот распорот —
Горят закатные огни.

Монголы звякают котлами,
От диких утомясь утех.
Горит огонь, трепещет пламя,
Гортанный говор, хриплый смех.

Тот, запрокинувшись на спину,
Забиться сном здоровым рад.
Тот жрёт горячую конину,
И сало каплет на халат.

Храпят стреноженные кони
В кругу беснуется шаман.
В следах убийства и погони
Помятый выжженный бурьян.

Каменная баба

Изделе половецких мастеров,
Она стоит, забытая, у входа,
И лик её под шляпою суров,
Как лемеха не знавшая природа.

Пред ней проходит юркий пионер,
Солдат и чернокожий гость столицы,
Шуршат подошвы и мелькают лица,
И день осенний монотонно-сер.

И снится ей невспаханный простор,
Гул табунов и горький дым становий,
И над Каялой ржавый косогор,
И звон мечей, и брызги русской крови...



Песня о жёлтой опасности

Не спится, с измятого ложа
Встаю в тишине неживой.
Суровая жёлтая рожа
Висит над рассветной Москвой.

Одетая в синее сила
Сбирается у рубежа.
В седло опустился Атилл,
Под мышкою Маркса держа.

Уж стонут от конского пляса
Седые равнины вдали.
Великая белая раса,
Призыву поэта внемли!

Сплотимся, повесим на груди
Оружья спасительный груз.
Мы белые, белые люди —
Германец, еврей и индус.

Кирасиры

Блещет медь, горят мундиры,
Вьются гривы на ветру.
Кирасиры, кирасиры,
Кирасиры на смотру!

Вот они, в строю сверкучем, —
Страх — над ними не кружи!
Вертикально взвиты к тучам
Голубые палаши.

Кони — точно леопарды,
В пене — мундштуков металл.
Расправляет бакенбарды
Моложавый генерал.

Над истерзанной равниной
Будут грохоты слышны.
Человечину с кониной
Очень любит бог войны.

Солдат

Он был убит. Влетел осколок
Под сердце — будто целил враг.
Размытый осенью просёлок
Хранил его последний шаг.

Был кончен бой, и без опаски
За плечи кинув тёплый ствол,
Угрюмо глядя из-под каски,
К нему товарищ подошёл.

Присев на корточки над мёртвым,
Он молча вытащил на свет
Блокнот стихов, огрызок стёртый,
Красивой женщины портрет.



Военный марш

Ревут орудийные громы.
Звенит котелок о тесак.
Идём мы дорогой знакомой,
Дорогой смертей и атак.

Привычно сидеть нам в окопах
В глухой обороне не год;
Привычно нам вязнуть в сугробах
И грудью бросаться на дот.

Когда-то доверчиво грели
Нас мирного солнца лучи.
Теперь мы – убийцы и звери,
Мы смертники и палачи!

Пулемётчик

Они идут, они видны все чётче:
Выходят из лощины на бугор.
Ты подпусти их ближе, пулемётчик,
Проверь прицел и отведи затвор.

Идут, чтоб быть убитыми в упор.
Им монументов не поставит зодчий.
Их командир в заботливости отчей
Над картой руку красную простёр.

Прищурен глаз и перекошен рот,
И яростно грохочет пулемёт,
Бросая гильзы в исступлённой пляске.

И ни один из цепи не встаёт.
И пулемётчик вытирает пот,
Текущий из-под раскалённой каски.





Атака

Ползёт рассвет на смену мраку,
И, скрыв животную тоску,
Мы поднимаемся в атаку
По офицерскому свистку.

Ты не узнаешь, мама, сына,
И мужа, милая жена.
Питекантропья образина
Огнём убийства зажжена.

Вот я бегу – космат и страшен,
Забыты принципы добра,
И кровью плоский штык окрашен,
И грозно хриплое «ура»!

Солдатской тёмною судьбою
Они впервые сведены —
В мундирах разного покроя,
С штыками разной ширины.

Один из них был рыж, как пламя,
Другой был смугл и черняв.
Они могли бы стать друзьями,
Друг друга как-нибудь поняв.

Писали девушки обоим
С надеждой, страстью и тоской,
И каждый помнил перед боем
Прощанье с матерью седой.

Но здесь, под этим дымным небом,
Под батареей надсадный рык,
Они не поделились хлебом:
Один всадил в другого штык.

Ровесниками были двое
В мундирах разного покроя.



Баллада о двух солдатах

Тосковал солдат на своем посту.
Догорела заката ржа.
И другой солдат скользнул в темноту,
Автомат на весу держа.

И сгустилась ночь, и в ночи возник
В той траншее кровавый ад.
Раскалялся ствол, и вонзался штык,
И о каску гремел приклад.

И один из них пять свинцовых жал
Без прицела во тьму извѣрг,
А другой гранату метнул — и ал
Был огня нестерпимый сверк.

И поникла плоть, и из рваных дыр
Кровь и мозг потекли в пыли,
И рванулись души в астральный мир,
И земную грань перешли.

И открыл глаза, и сказал солдат,
Видя тень врага на пути:
— Ты прости меня, незнакомый брат.
И услышал в ответ: — Прости!

И свободы хмель, слаще всяких вин,
Их объял вместо боли ран.
И на Сириус улетел один,
И другой — на Альдебаран.

Хлопнул выстрел одинокий
В трансцендентной тишине.
Кто-то жуткий и высокий
Приближается ко мне.

Тяжесть танков, море гула,
Небо низко и пестро.
В тёмных зарослях мелькнуло
Евы смуглое бедро.

Рябь холодного залива,
Птеродактилей полёт.
Пулемётчик молчаливо
Разбирает пулемёт.



III

Мальчик рос, глазами хлопал,
Все над мальчиком тряслись,
Чтобы он на дно окопа
Рухнул в глинистую слизь.

Горе смешано с восторгом
В этом мире бредовом,
И огнями рядом с моргом
Озарён публичный дом.

Тихий месяц спит над садом.
Двое млеют под листвой.
Приютился с ними рядом
Синий призрак гробовой.

Как всё дико и нелепо,
Непонятно и смешно —
От заброшенного склепа
До театров и кино!

Знать, в сознании есть прореха,
Видно я сошёл с ума —
Не могу смотреть без смеха
На людей и на дома!





Залив птерадонов

Там, где не знавший лодок
Раскинулся залив,
Сидел я, подбородок
На руки опустив.

И в голубых равнинах
Сплетали пёстрый кров
Стада кроваво-синих
Закатных облаков.

И, грозных скал заслоны
Усеяв тьмой семей,
Кружили птерадоны
Над пеною зыбей.

И кожаные крылья
Свистели, как мечи.
Их алой краской крыли
Последние лучи.

И погружался в темень,
Пустынно-молчалив,
Угрюмый, в наше время
Исчезнувший залив.

На острове

Ich hatte ein Kameraden...*

Вечерний бриз гулял на острове,
Огонь заката плавил дали,
И облака клубились монстрами
Полотен Сальвадора Дали.

Овалы глаз уставив жаляще,
Раскинув слизистые путы,
Убили моего товарища
Ультрамариновые спруты.

Я был один на диком острове,
И нарастала мощь прибоя,
И угасало небо пёстрое,
От алых отблесков рябое...

Суровая молитва идиота
К пылающему небу вознеслась,
И вылезла из чёрного болота
Зелёная, пупырчатая мразь.

Я вышел в мир, застенчив и неловок,
И одуванчик вырос у стены,
И стая самоходных установок
Вела огонь по кратерам Луны.

А город спал, тревожно и несладко,
Мучительно ворочаясь во сне.
Профессор в износившейся крылатке
Кусочком замши протирал пенсне.

* немецкая солдатская песня
«Был у меня товарищ»

Плутон

Чудовищная, мрачная планета,
И жуткое название — Плутон.
Здесь не увидишь переливов цвета,
Здесь чёрный мрак и серый полутон.

Вот трещина чернеет, точно Лета.
Нагроможденье скал со всех сторон.
Здесь тишина, здесь бесконечный сон,
Здесь не дождёшься нежного рассвета.

Я — космонавт. Я видел на экране
Движеньё звёзд, возникновенье сфер,
Мой путь лежал в космическом тумане,

И на планете, мрачной свыше мер,
Меня встречать выходят из пещер
Угрюмые уродцы — плутоняне.





Песня зазывалы

Ржут тарелки в медном лязге,
Гулко лупит барабан.
Заходите без опаски
В наш весёлый балаган!

Воют трубы, вьются флаги,
Трюки жутки и новы.
Акробаты здесь и маги,
Здесь красавицы и львы!

Динозавры дебрей Конго,
Марсианская змея!
Здесь вы сбросите надолго
Груз кошмарный бытия!

Триада сонетов



Лилвый сонет

В задумчивом лиловом кабаке
Был потолок в фигурах зодиака,
Лилвый свет лежал на шашлыке
И на большой бутылке «Аштарака».

Кружились пары в сладостной тоске,
И улыбнулся мне из полумрака
Скелет с фиалками в петлице фрака,
С рукой девичьей в костяной руке.

А в окнах лиловела, чуть видна,
Сиреневая тусклая страна.
Там распевали Сирины в сирени

И плавал джаза затаённый жар,
И на паркете от кружащих пар
Скользили фантастические тени.

Сине-зелёный сонет

Из лунных бликов и морской воды
Сооружён был замок. Глухо били
Часы забытые. Трёхпалые следы
Хранил налёт тысячелетней пыли.

Зелёный свет неведомой звезды
В окно струился и менялся в силе.
Глазами удлинёнными грозили
Прозрачных статуй звонкие ряды.

На лестницах почила тишина,
Была зеленовата и темна
Неисчислимых залов перспектива.

И девушка стояла у окна,
Расчёсывала волосы она
Лазурно-изумрудного отлива.

Красный сонет

Был город пьян и тёмен и незряч,
Текла толпа вдоль каменных прибрежий,
И округлился каждый глаз, как мяч,
Когда плеснуло небо кровью свежей!

Всё хлынуло, всё побежало вскачь —
С постов солдаты, клоуны с манежей,
И в зоопарке грянул рёв медвежий,
И завели гиены жуткий плач.

Всё стало красным — улицы, мосты,
Вода в каналах, книжные листы
И лица мёртвые витринных кукол . . .

А неземляне, мрачно бормоча,
Толпясь у генератора луча,
Смотрели в небо сквозь прозрачный купол.

Музей

Приветливый, весёлый старичок
Меня повёл по гулкой анфиладе.
На подбородке — седенький клочок
И безмятежность детская во взгляде.

Здесь были рядом запад и восток,
Ряды скульптур в торжественном параде,
И тускло отражён в зеркальной глади
Был зверя ископаемого рог.

Вот, — старичок указкою повёл,
Собранье флейт, гобоев и виол;
Вот всех веков доспехи и мундиры,

Вот атрибуты атомной войны,
А здесь, на этом снимке в полстены,
Ландшафт планеты из созвездья Лиры.

Стояли скалы, точноobeliski,
Очерченные понизу прибором.
В лицо летели водяные брызги.
Хлестала кровь из десяти пробоин.

Я умирал без чести и награды,
Грудь облегчая сдавленным проклятьем.
Вдали плескались наглые наяды.
Я понимал — к стрельбе не привыкать им.

Сверкали ляжки в полосе приборя,
Качались паруса рыбачьих лодок,
И небо меркло медленно, рябое
От алых туч и золотых обводок.

Под кваканье старинного фокстрота,
Под хриплый стон заезженной пластинки
Мучительно похожий на кого-то,
Худой кентавр снимал с меня ботинки.

Новый Иерусалим

Зацвели на бульварах каштаны,
Пляшет дождь на изгибах реки,
В парках бьют золотые фонтаны,
В ресторанах скворчат шашлыки.

Гармонична объёмов беседа.
Камень зелен и жёлт и лилов.
Этот город на ватмане бреда
Начертал Иоанн Богослов.

Дождь окончился. Полнебосвода
Опоясано аркой цветной,
И под ручку прошёл Квазимодо
С Эсмеральдой, своею женой.



Стояли на стоянке три кентавра,
Беседуя и сумрачно куря.
По небу тусклый пурпур раскатала
Холодная осенняя заря.

Кончался в учреждениях день рабочий,
Уже закат над городом пылал.
Один поэт, до выпивки охочий,
Кальсоны голубые продавал.

Над крышами полосы неба рдели,
Поэт отправился в страну безумных снов,
И у колонн центрального борделя
Кентавры поджидали седоков.



За окном вокзальной столовой
Мокрый ветер деревья стриг.
Мне кивнул из угла суровый
В потемневшей броне старик.

Средь объедков желтело пиво
На клеёнке грязно-рябой,
А внизу стоял сиротливо
Белый конь с отвисшей губой.

Злые дети учились в школах.
Во дворе шёл сбор нечистот,
И парад проституток голых
Принимал ярко-рыжий кот.

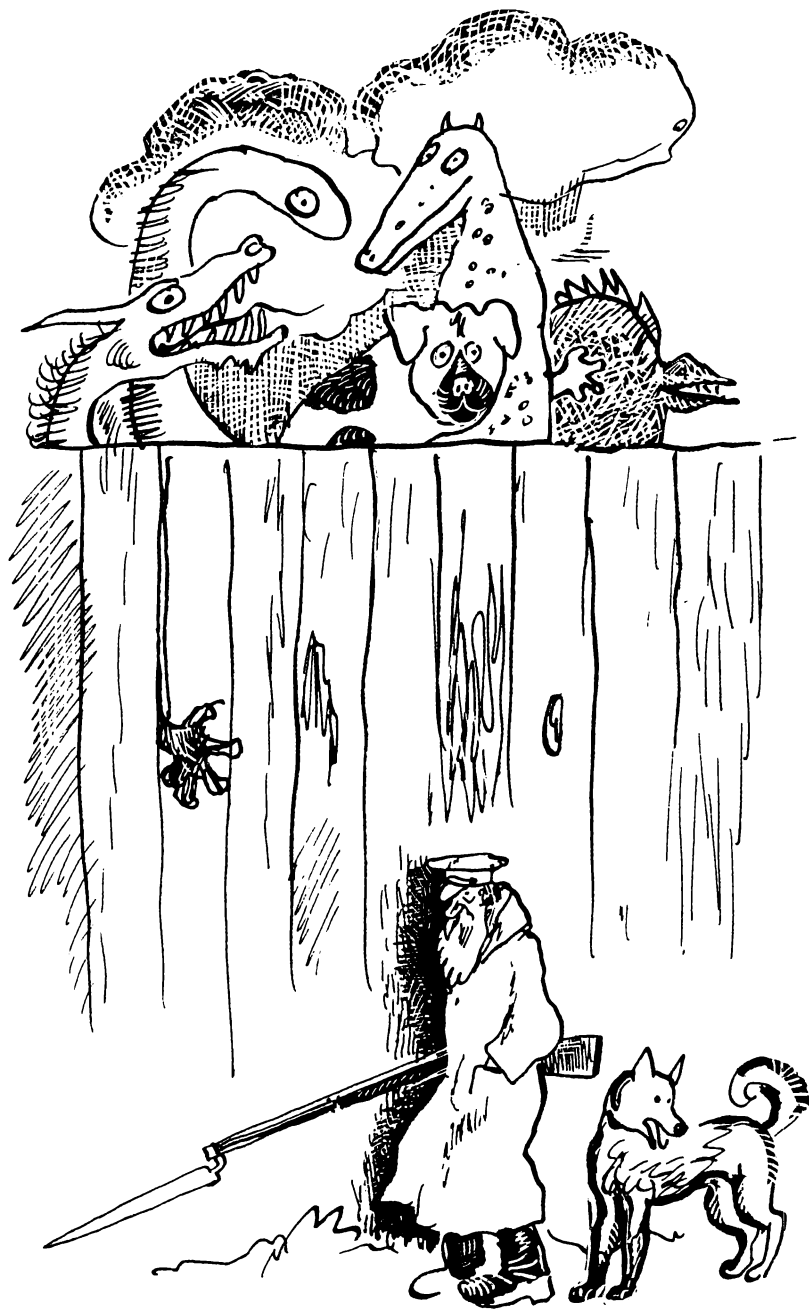
Мышеград

Всё было серо в городе мышей:
Знамёна, шторы, детские паяцы.
Ласкали жёны толстеньких мужей,
Детей рожали и глядели в святцы.

В тиши и мире жили мышеградцы.
Военный марш им не терзал ушей,
Их не сгоняли на рытьё траншей,
Лишь меж собой случалось им подраться.

Всё было безмятежно, как и встарь,
И Мыш IV был гуманный царь,
Он правил праведно и не жестоко.

Но вот в куранты бухнул чёрный год,
И слух пронёсся, что огромный кот
На город надвигается с востока.



Странные и с виду очень разные
Водятся животные у нас.
Чёрные, лазоревые, красные,
Золото на брюхе и у глаз.

Любит зверь не сахар и не пряники,
Каждый коготь — точно финский нож.
Если в парке загулялся пьяненький,
Утром даже кепки не найдёшь.

В час, когда под стук дождя бессонного
Спят и осуждённый и судья,
В переулках светится неоновом
Парковых драконов чешуя.

Вот оцеплен воинами конными
Весь квартал под сеткою дождя.
Быются милицейские с драконами,
Для сограждан жизни не щадя.

Как святой Георгий, колют пикой,
Саблями рубают во всю мочь.
Ржаньем и мучительными криками
Полнится торжественная ночь.

Опять под сводами вокзала
Гудит и мечется народ.
Я чемодан тащу устало
И город вновь меня берёт

В свои шершавые ладони
И смрадно дышит мне в лицо.
Я тороплюсь в глухом притоне
Снять обручальное кольцо.

Иду по улицам. Всё та же
Суровость обветшалых стен.
Сажу в театре в бельэтаже
И местных слушаю сирен.

Вот площадь. Бронзовую шашкой
Грозит потомкам генерал.
Густой, торжественный и тяжкий
Из церкви слышится хорал.

Старик-шарманщик с обезьяной
Мне шепчет: «Снова к нам, сеньор?»
Теряет листья парк багряный,
И тянет стужей из-за гор.





Кряхтели и покашливали в зале.
Рыдали скрипки. Близился финал.
Склонился на эфес тяжёлой сабли
Оставленный актрисой генерал.

Театру полночь отворила вены.
Томился сад в узорах теневых.
Я видел: опечаленный военный
Садился в персональный броневик.

Летели листья, точно в небе тучи.
Асфальт подъезда помнил о дожде.
Был город нарисован чёрной тушью
И золотом подкрашен кое-где.

Придя в себя, надевши фрак,
Он вышел вместе с ними.
Они поехали в кабак
В предполуночной сини.

Стонали скрипки в кабаке
И, хриплые с ненастью,
Вопили пьяницы в тоске
И плакали от счастья.

И дождь к полуночи утих
Луны и грусти ради,
И девка в туфлях золотых
Плясала на эстраде.

Грузовик

Нас уносил трёхтонный грузовик
В туманные полуночные дали.
Летели листья, травы увядали,
И месяца невыспавшийся лик
Был оборотной стороной медали.

Мы пели песню грустную без слов,
Вытягивали важно и нескоро,
И средь зубцов елового узора
Покачивали облачный улов
Холодные осенние озёра.

Вздымался мост, и город вдалеке
Являл созвездьям тяжкое барокко.
Осенний мир висел на волоске,
И мы везли в брезентовом мешке
Отрубленную голову пророка.



Всадник

Над пустыней немой и голой
Догорел ледяной закат.
Тяжкий путь бесконечно долог,
И в кровавых мозолях зад.

Тощий конь еле ноги тащит,
Плащ у всадника сплошь из дыр.
Над пустыней, тревожно спящей,
Грандиозный встаёт сортир.

Заслонив Орион и Лиру,
Светом фар рассекая мрак,
Подъезжает к тому сортиру
Грузовик, на котором — бак.

Чёткий ход мирозданию задан.
Оттого, наклонив башку,
Грандиозный ассенизатор
Выволакивает кишку.

И стоит, над кишкою горбясь,
Заслоня созвездий вязь.
И от злости, от лютой скорби
Плачет всадник, в седле клонясь.



Голубой зверь

В море крыш упало солнце,
Звёзды вышли без потерь.
В тёмном городе завёлся
Голубой и юркий зверь.

Он облазил бары, бойни,
Чердаки и погреба.
Вслед за ним идёт погоня,
Матерщина и стрельба.

Не одна пуста обойма,
Но не пойман и теперь,
И вовек не будет пойман
Голубой и юркий зверь.



Естественный человек.

Идиот

А. Никитину

За синими горами,
За зыбью светлых вод
Живёт в хрустальном замке
Весёлый идиот.

В окне увидел солнце,
Он испускает крик.
Потом бежит вприпрыжку
Он в кафельный нужник.

Сожрав обильный завтрак,
Поковыряв в носу,
На радужной лужайке
Он ловит стрекозу.

Трое над рекой

Нас было трое. Трое над рекой,
Угрюмый город рассекавшей круто.
Вздыхнул один, забормотал другой,
А третий прыгнул вниз — без парашюта.

Остановив неистовый мотор
Мы в тишине следили за полётом.
И я сказал пилоту: «До сих пор
Он счастлив был и не платил по счёту».

Пилот ответил: «Бог его хранит!
Теперь ноябрь — не холодна вода ли?»
Но наш товарищ врезался в гранит.
И мы ушли в нахмуренные дали.





Худую плоскость починив,
На самолёте самодельном
Летим над городом ночным,
И не мила в ночи постель нам.

Наш ненадёжный аппарат
Как чёлн, качается от ветра.
Он дрожью странную объят
На высоте в полкилометра.

Под нами города развал.
Во тьме дворов таятся тати.
Ложится грудью на штурвал
Мой умный друг, изобретатель.

Старички с крысами

Проспекты многолюдны и яркие,
А в переулках мрачно, как в пещерах.
Почтенные седые старички
Громадных крыс прогуливают в скверах.

Бобровые у них воротники,
На их цилиндрах отблески павлиньи.
Натягивая туго поводки
Гуляют крысы, жирные как свиньи.

И старички, мордасты и толсты,
Меняются приветственным елеем.
И розовые голые хвосты
Ползут по тихим ледяным аллеям.



Ночной гад

То в отблесках луны, то утонув во мраке,
Огромный город спит, и кажется порой,
Что это смертный сон. И мусорные баки,
Набиты до краёв, равняют мрачный строй.

И девочка — не то во сне, не то спросонок —
Проходит на ветру в рубашечке ночной,
И чёткий силуэт, чуть угловат и тонок,
По краю обведён серебряной луной.

И город отражён в очах её печальных
С шеренгой фонарей и чёрною рекой,
С косматым ходом туч, с огнём светил случайных,
И холоден бетон под тёплою рукой.

И вот из-за угла разрушенного дома
Выходит некий гад, оформленный едва.
Он скалит красный рот темно и незнакомо
И девочке хрипит ужасные слова.

А девочка — бежать! Но вслед ей всё животней
Кровавые зрачки летят из темноты...
Два добрых старичка глядят из подворотни,
Распялив криком рты и вверх подняв зонты.

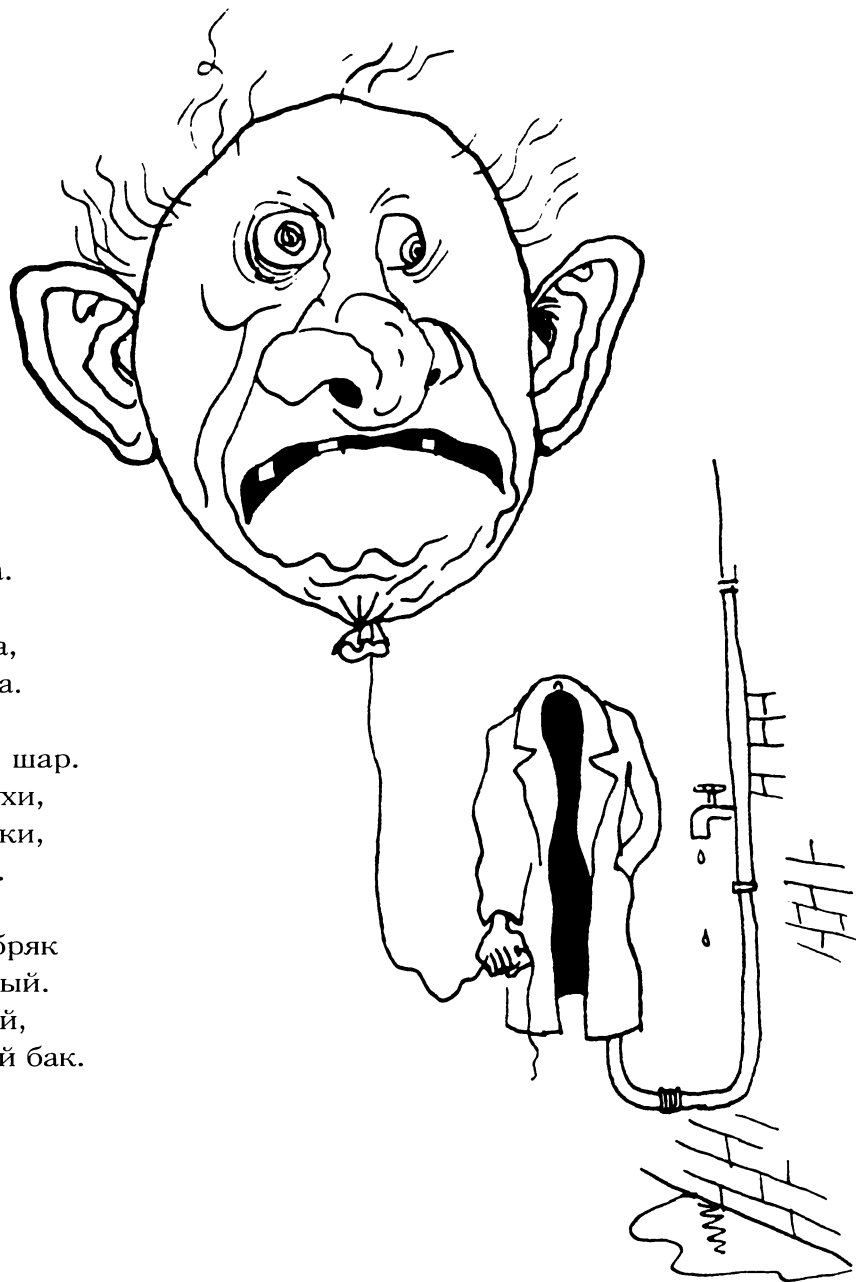


Безголовый сосед

Мой сосед матерится с утра.
Голова затерялась куда-то.
Задыхаясь от хриплого мата,
Он блуждает во мраке двора.

Всходит солнца малиновый шар.
Смотрят дети, коты и старухи,
Как сосед, задыхаясь от скуки,
Ищет голову, грязен и стар.

Осень кончена. Стужей набряк
Зев парадного тёмно-лиловый.
Матерится сосед безголовый,
Спотыкнувшись о мусорный бак.



От лунного восхода
Равнина туч пестра.
Плясали три урода
У красного костра.

Плясали, топотали —
Подошвы ль им жалеть!
Глаза их как медали,
И лица, точно медь.

Плясали без сноровки,
Как тени на стене.
Пустые поллитровки
Лежали в стороне.

Сгущалась непогода,
Гремел далёкий гром.
Уснули три урода
Тяжёлым пьяным сном.



Сонет о чугунном шаре

В углу горит оплывшая свеча.
В подвале сырость, мрак и паутина.
Чугунное подобие мяча
Туда-сюда катают два кретина.

По плитам пола, гулко грохоча,
Стремится шар. Ложатся тени длинно.
И безобразно тупо и невинно
Их образины просят кирпича.

Идут века. Сменяются цари.
Бурьяном зарастают алтари.
Сквозь канонаду слышен рокот струнный.

Огни созвездий гаснут на заре,
И два кретина в каменной норе
Туда-сюда катают шар чугунный.

Ночлег

Погасли тревожные фары.
И поршни окончили бег.
В деревне Большие Кошмары
Нас ждал неудобный ночлег.

Хозяин, мужик одноглазый,
К нам высунул маску лица,
Изрытого давней проказой,
И дал на подстилку сенца.

Сходили со стен тараканы,
Большими усами вода,
По треснувшим стёклам стекали
Холодные струйки дождя.

Рождались из ночи осенней
То взвизги, то жалобный стон.
От резкого скрипа ступеней
Бежал утешительный сон.

От ветра качалась лампада,
К иконе краслась темнота,
И рыло болотного гада
Мерещилось вместо Христа.

А утром мы в кузов залезли,
И каждый проверил затвор,
И снова под небом железным
Завёл свою песню мотор.

И поршни забегали, яры,
И брызнула в стороны грязь.
Деревня Большие Кошмары
Молчала, угрюмо косясь.

Баллада о злодеях

Закат догорел, золотая,
И сумерки в ночь перешли.
Из леса выходят злодеи,
Свирепые, как кобели.

Их куртки грязны и измяты,
Их лица в щетине дики,
Но смазаны их автоматы,
Заточкой сверкают клинки.

Ощупав лимонки в карманах,
Ногой деревянной стуча,
На дело ведёт атаман их
С бесстрастным лицом палача.

И гулко глухими ночами
Грохочет ручной пулемёт,
Взвивается красное знамя,
Мычит угоняемый скот...

Но лязгнут однажды затворы
Над глушью злодейских дорог,
Взревут, тормозя, транспортёры,
И спрыгнут солдаты на мох.

Усыпят еловые шишки
Места фантастических драм,
И сельские будут детишки
Грибы собирать по утрам.

И в чаще, где солнца заплаты,
Нашарит ребячья рука
Пустой магазин автомата
И россыпи гильз. А пока —

Закат догорел, золотая,
И сумерки в ночь перешли.
Из лесу выходят злодеи,
Свирепые, как кобели.



Собрались на поляне бандиты
Слушать треск золотого костра.
Их суровые лица не бриты,
Каждый взгляд — что удар топора.

Автоматы на сучья повесив,
Самогону с устатку хватив,
Запевают они — и невесел
Этой песни усталый мотив.

«Ой ты лес!» — распевают бандиты. —
«Ты нас принял, как добрый отец.
Все дороги войсками закрыты,
Нашей банде приходит конец».

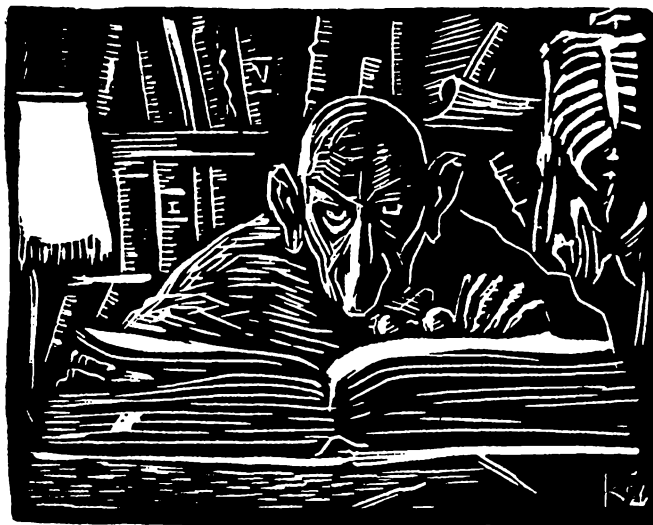
Растекается песня густая,
И, слышав тягучий напев,
Подвывает голодная стая,
Морды длинные к небу воздев.

Бывший разбойник

Лихие разбойники Брянских лесов,
Вы славные были ребята!
Я тоже не брил бороды и усов
И был душегубом когда-то.

Теперь я на штатной работе сижу,
Пишу циркуляры, но всё же
Я в прошлое с нежной улыбкой гляжу,
Беря авторучку, как ножик.

Лихие разбойники Брянских лесов,
Вы славные были ребята.
Я тоже бродил с топором у кустов
И был душегубом когда-то.



Ночная охота

Никифор постучал в окно
И я ему открыл.
В стакане вспыхнуло вино
Как влага наших жил.

«Твой верный ствол качнёт рука,
Не пей, Никифор, брось.
Охота будет нелегка
И наша цель — не лось».

Но он, смеясь, ответил мне:
«Ты сам успел хлебнуть!
Ты порешь вздор». И при луне
Мы выступили в путь.

Горел неярко лунный диск,
В траву легла роса.
И два бежали впереди
Волкоподобных пса.

Нас привели они к реке
Где у развилки троп
Как будто конский вдалеке
Послышался галоп.

Парами мха и прелых трав
Был полон леса мрак.
И вот, с плеча винчестер сняв,
Никифор молвил так:

«Не знает зверь своей судьбы
Идя на водопой.
У этой стану я тропы,
Ты подожди у той».

Я ствол на ветке укрепил,
Чтоб бить наверняка.
То был огромный крокодил
С ногами рысака.

Я ждал, вперяя взор во тьму,
На спуске был сустав,
Но зверь направился к нему,
Его тропу избрав.

Что было там, из-за стволов
Не мог я рассмотреть,
Но слышал всё: стрельбу и рёв
И вопль, в котором смерть.

И сквозь орешник напрямик
С прикладом у плеча
Я ринулся, а зверь приник
И тело рвал, рыча.

Стоит средь хижины моей
Чудовищный скелет...
Я говорил ему: «Не пей!»
Так не послушал, нет.



Заседание

В огромном зале, гулком и холодном,
Мы собрались и сели у стола.
Всё было в свете иссиня-подводном,
И только по углам таилась мгла.

И было сыро в той пустой палате,
И, настроенья было больше чтоб,
Торчал железный крюк, и на канате
Качался над столом огромный гроб.

И было мало водки и закуски,
И всё уж было выпито, когда
Встал человек с лицом костляво-узким
И, помолчав, промолвил: «Господа!»



Хоровой кружок

Я живу за батареей
Парового отопленья.
Я с годами не старею,
Я большой любитель пенья.

Есть жилец в горшке разбитом,
Под комодом – сразу трое.
Я в уборной под корытом
Хоровой кружок устроил.

Все хористы мне подвластны,
Я главарь капеллы местной.
В старом тюбике из пасты
Баритон живет известный.

Если б нас услышал Верди!
Широко звучанье хора.
Мы не любим крыс до смерти
И боимся клопомора.



Песня упыря

Надо мной цветёт природа.
Тесен гроб и вглубь и вширь.
Я не дам тебе развода,
Потому что я упырь.

Не спеши с любовью новой
Шпроты есть и пить вино.
Тенью смутной и лиловой
Я скользну в твоё окно.

Облик сгнившего местами
Будет страшен на виду.
Я кровавыми устами
К нежной шейке припаду.

Насосавшись до восхода,
Улечу, как нетопырь.
Я не дам тебе развода,
Потому что я упырь.

Песня про упырей

Меркнет солнца золото,
Гаснут фонари.
В эту ночь по городу
Бродят упыри.

Медною болванкою
Светится луна,
Упыри с Ваганькова
И с Головина.

Пенье их и выкрики
Слышны до утра.
Упыри-упырики,
Вам домой пора.



Песнь о диване

Герой добывает в полёте
И славу и орден и чин,
А я по наследству от тёти
Старинный диван получил.

Припев:

Ах диван, мой диван,
Мой старинный диван,
Я люблю тебя нежно, как сын.
Ты звучишь, как рояль,
Ты зовёшь меня вдаль
Нежным звоном скрипучих пружин.

Ура, окупилась усилъя,
Не зря я потел до сих пор,
К дивану приделаны крылья,
Колёса и мощный мотор.

Припев.

Пусть ходят под окнами воры,
Пусть злится сосед-живоглот,
Меня в голубые просторы
Уносит диван-самолёт.

Припев.

Волшебное пальто

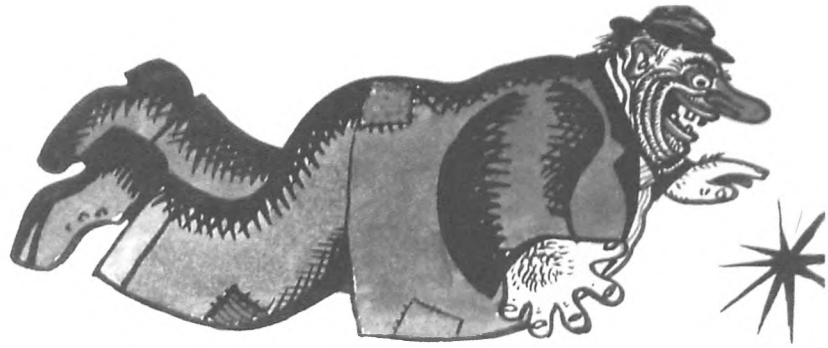
Это было в день полочки.
Меркнул солнца ореол.
По дешёвке на толкучке
Я пальтишко приобрёл.

А пальтишко — не простое:
Вдел я руки в рукава
И вознёсся над толпою —
Тихо, медленно сперва.

И над рынком потрясённым,
Над бурьяном пустырей,
Над трамвайным перезвоном
Я понёсся всё быстрей.

Вслед милиция свистела,
Злился ветер ледяной...
Город, чёткий до предела,
Колыхался подо мной.

От Казанского вокзала
Отходили поезда,
И за шиворот попала
Изумрудная звезда.



Карл Иваныч

Горит ночник печально,
На кухне темнота.
В квартире коммунальной
Соседей — до черта.

Иван Семёныч Преев
Похож на огурец.
Махновские — евреи,
А Сарычев — подлец.

У телефона драка,
На кухне теснота.
У Кузькиных — собака,
У Коган — два кота.

Михал Михалыч Бочкин
От водки чуть живой.
А Карл Иваныч ночью
Летает над Москвой.

Не то, чтобы в постели,
Не то, чтобы во сне, —
Летает в самом деле
Сосед мой при луне!

Над церковкою старой
Он кружит налегке
С обшарпанной гитарой
В неопытной руке.

От Ховрино до Пресни
В разливе темноты
Поют ночные песни
Весёлые коты.

На кухне, глядя на ночь,
Зашаркал домовый...
Сосед мой, Карл Иваныч,
Летает над Москвой.

Синий слон

За собором кафедральным
Розовеет небосклон.
У меня в шкафу зеркальном
Проживает синий слон.

На плакате кончив букву
Я в мешочке из рядна
Проношу морковь и брюкву
Для любимого слона.

Спит сосед, жену облаяв,
Черный пёс скулит во сне...
Я к отрогам Гималаев
Уезжаю на слоне.

Спят барачные каморки.
Вот и Ховрино. Оно
В чёрных водах Лихоборки
Навсегда отражено.

Тлеют звёздные топазы,
Открывает дали ночь.
И шофёры с автобазы
Мне сигналият во всю мочь.

Тает света половодье
В предрассветной полосе...
Прямо в Индию уводит
Лихачёвское шоссе.

Про дядю Кешу

У старика, у дяди Кеши,
Что любит забивать козла,
Среди седин, на жёлтой плеши,
Однажды вишня проросла.

По всем ботаники законам
Пустила корни, цвет дала,
Шумит фонтанчиком зелёным,
Жильцы дивятся — вот дела!

Нет счёту ягодам багряным,
Крупны и сладки, что твой мёд.
На рынке Коптевском стаканом
Их дядя Кеша продаёт.

И ходит пьяный всю-то осень,
Купил бобровое пальто.
Хоть он старик и хворый очень —
На плеши дерево зато.

Марсиане

Марсиане прилетели с Марса,
И в ларьке потребовали морса.

Продавщица, важная как пава,
Марсианам предложила пива.

Синими плащами покрываясь,
Выпили они и — покривились,

Закачались, словно в пантомиме...
А корабль был виден за домами.

Люк закрылся в розовом металле,
Звук полёта был как свист метели.

След остался — странная вещица,
Что на шее носит продавщица.

Марсианин

Ночной фонарь сошёл с ума,
И подворотня окосела.
Воров устраивала тьма,
И по рублю ценилось тело,

И шёл безглаголиво через грязь
Кот масти невообразимой,
И некто, к тумбе привалясь,
Дремал с разбитой образиной,

И тем, кто грезил о заре,
Был каждый миг тяжёл и странен...
В ту ночь в загаженном дворе
Был арестован марсианин.

Он исступлённо верещал,
Предчувствуя дознанья муку,
Глазами круглыми вращал
И прокусил сержанту руку.

И было мокро во дворе,
И точкой пурпурного света
Сияла в облачной дыре
Его родимая планета.





Марсианка

Поделитесь, товарищи, склянкой,
Я ведь тоже живая душа!
Познакомился я с марсианкой,
Очень, шельма, была хороша.

Я кормил её чёрной икрою
И советским шампанским поил.
Разделял я полночной порою
Марсианский неистовый пыл.

Я купил ей роскошную дачу
(Был в те годы я страшно богат),
Подарил ей и сердце впридачу
За улыбку и ласковый взгляд.

Только было то счастье недолгим —
Через месяца три в аккурат
Появился над дачным посёлком
Непонятный такой аппарат.

Затрубили призывно оттуда,
Люк открыли и бросили трап.
Закачались деревья от гуда,
Я от страха и горя ослаб.

Погасили лиловые веки
Неземной фиолетовый взгляд,
И ушла моя юность навеки,
В чёрных тучах исчез аппарат.

Зря связался я с той марсианкой!
Стал я хвор, за душой — ни гроша.
Поделитесь, товарищи, склянкой.
Я ведь тоже живая душа.

Мы идём дремучею дубравой,
Волчьих глаз сияют огоньки.
Подожди, мы выпьемся на славу,
Потерпи, мы высушим носки.

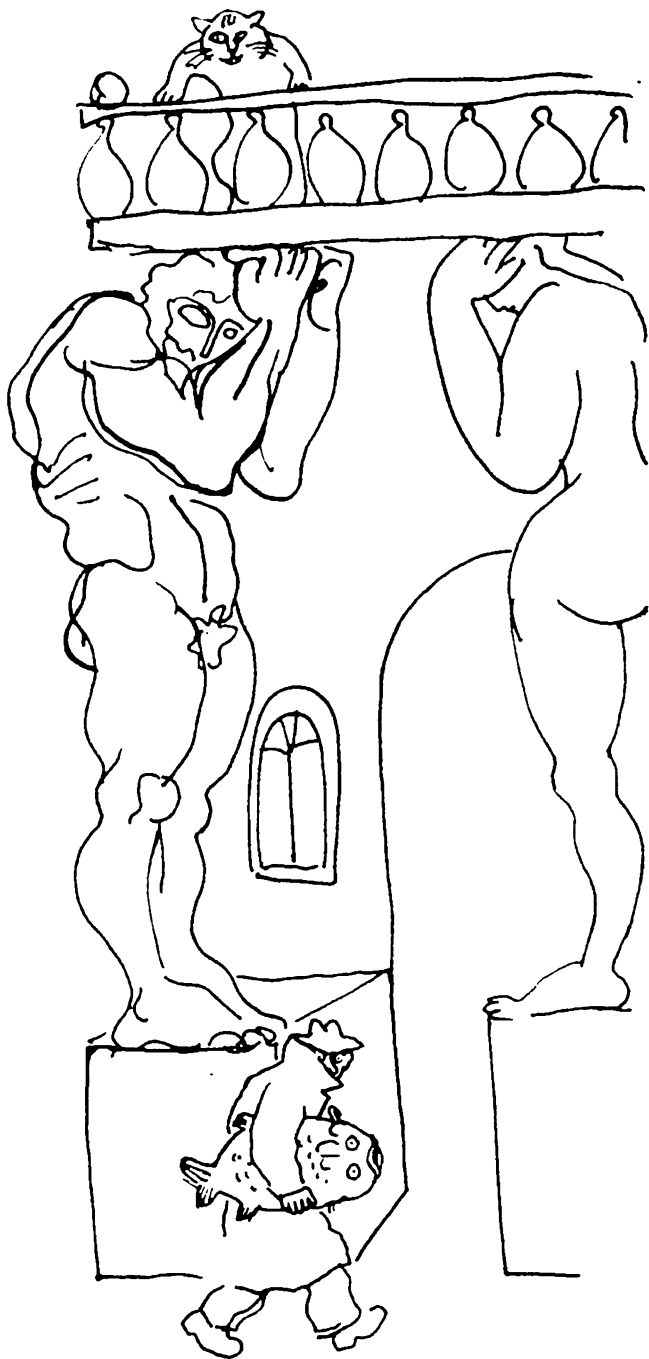
Неизменны звёздные орбиты
И в желудке смертная тоска.
Подожди, мы скоро будем сыты,
Потерпи, мы выпьем коньяка.

Ой, усталость, смертная истома,
Бесконечен безнадёжный путь.
Подожди, ведь мы почти что дома,
Потерпи, осталось чуть-чуть.

Путь во мраке, путь во мраке —
Безнадёжный страшный путь.
Не горят созвездий знаки,
Тишина, туман и жуть.

Этой полночью недоброй
Стиснут разум, как в тисках,
И холодной скользкой коброй
Под ногами вьётся страх.

Но, как нежный призрак рая,
На плечо моё, легка,
Опустилась, ободряя,
Чья-то синяя рука.



Незабываемая встреча

Я этого не могу забыть:
Грязью заляпан, худо одет,
Он кротко спросил меня:
«Есть закурить?»
И я ему резко ответил:
«Нет!»

И вот я увидел его со спины.
О, как мне страшно и совестно было!
Он под полою нёс крокодила
Средней величины.



Мы сидели в угрюмой каморке
За бутылкой плохого вина,
И глядел, неподкупный и зоркий,
Чей-то глаз из ночного окна.

Всё призывней неслось из-за двери
Грустно-сладкое пенье сирен,
И зелёные юркие звери
Пробегали по сырости стен.

Завывала и пенилась вьюга,
Рос на улице снега настил,
И в глазницах печального друга
Было видно мерцанье светил.

Дом с привидениями

В нашем доме живут привидения,
Только их не боится никто...
Мы им книжки даём для прочтения,
В доминишко играем, в лото.

Если воют в ночи синелицые —
Не встревожен наш сонный покой.
Это знает райздрав и милиция,
И чекисты махнули рукой.

Особняк наш старинный, с колоннами,
Он давно предназначен на слом.
Скоро въедем с детишками, с жёнами
В новый светлый, в Черёмушках, дом.

Яркой зеленью липы оденутся,
Зашумит над конфорками газ.
А куда привидения денутся?
Даже очень их жалко подчас.

Монархический романс

Прозвучал таинственно и нежно
На карнизе голубиный стон.
В мантию закутавшись небрежно,
Император вышел на балкон.

Возле самодержца не стояла
Стража с автоматом под полой.
С набережной узкого канала
Дворник помахал ему метлой.

И, как провинившиеся духи,
Медленно с уходом темноты
Расползались пьяницы и шлюхи
И вконец охрипшие коты.

Трепетала утренняя свежесть —
День и ночь связующая нить.
Сумасшедший добрый самодержец
На рассвете вышел покурить.

Я брожу по улицам столицы
В отблесках рекламного огня.
Вижу озабоченные лица
Горожан, похожих на меня.

В эту жизнь я должен окунуться,
Изучить все тонкости вполне,
А моё летающее блюдце
Растворилось в синей вышине...

Завтра я устроюсь на работу,
Заведу и бабу и друзей,
На хоккей отправлюсь я в субботу
Или в Исторический музей.

Если всё получится как надо —
Там, где льётся синеватый свет,
Ждёт меня желанная награда —
Степень кандидата и банкет.

Только грех об этом думать много,
Много дел в столичной суете.
Там у нас, в созвездье Козерога,
Всё не так — и девочки не те.

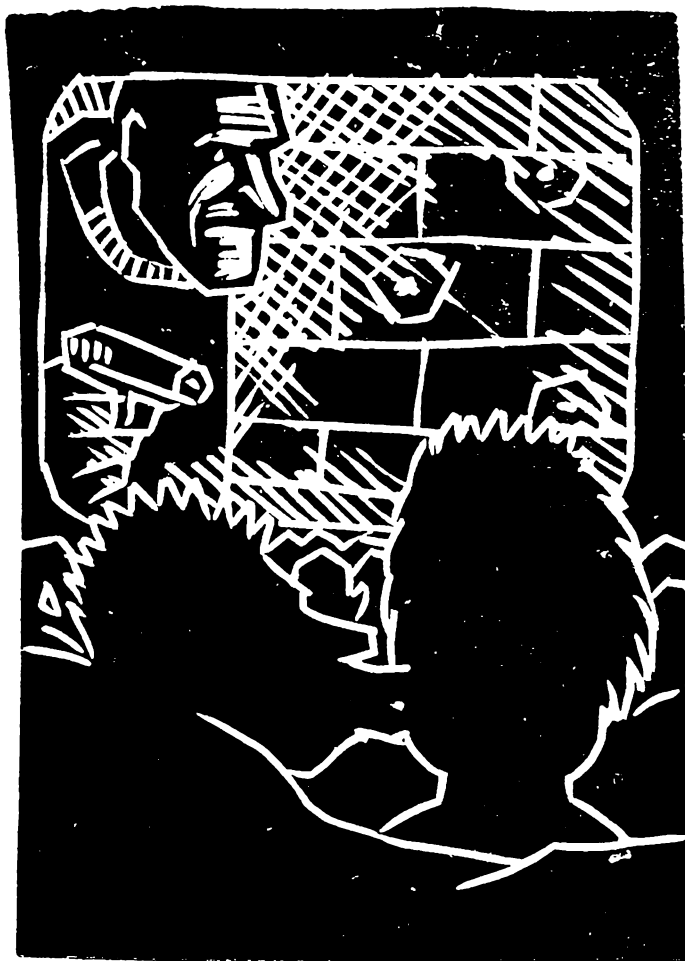
Король Сатурна

Я личность очень незаметная,
Хоть и устроился недурно.
Есть у меня мечта заветная —
Стать императором Сатурна.

Сижу, входящих лица путаю,
Обед невкусный ем в столовой,
И все мне кажется, как будто я
Красавец в мантии лиловой.

Я бал в честь короля Меркурия
Устроил на кольце планеты.
В сосудах ароматы курятся,
Сверкают гости, разодеты.

Кусочки звёзд в оправы вставлены,
Как отшлифованные камни,
Ох, размечтался, крыса старая.
На партсобрание пора мне.



Чета влюблённая на берегу морском
Сидела и закатом любовалась.
Гряда прибоя, встретившись с песком,
Широкою волною разливалась.

И было безмятежно счастье их,
Но сзади, возвышаясь над скалою,
Ревнивец муж, дегенерат и псих,
Стоял, подняв валун над головою.

Видел я воочью
(Этакое снится ль?),
Как ненастной ночью
Шёл поэт топиться.

Он шагал к каналу —
Мне ли знать причину? —
Чтоб навеки кануть
В тёмную пучину.

Став на парапете,
Он ерошил космы.
Лужи, мокрый ветер,
Необжитый космос...

Он избрал дорогу
Эту безвозвратно.
Вот занёс он ногу...
И пошёл обратно.

Из цикла про дядю

Мой дядя самых честных правил...

1

Мой дядя лихо партизанил,
Громил захватчиков везде.
Он с боем город Вену занял,
Домой вернулся при звезде.

У дяди быстрая походка,
С войны на подбородке шрам.
У дяди есть всегда селёдка,
Чаёк и водки триста грамм.

Мой дядя любит мыться в бане.
Он убеждённый холостяк.
Он вальс играет на баяне,
Когда я у него в гостях.

2

Справляли дядин день рожденья.
Хорош под водку холодец!
Вдруг входит без предупрежденья
Покрытый саваном мертвец.

Видать, в могиле не лежится
Тому, кому никто не рад.
Узнал в нём дядя сослуживца
Пять лет умершего назад.

И отражались в новой рюмке
Реклам холодные огни...
Себя мы с дядей взяли в руки
(Покойник здорово подгнил).

Но тут соседи загалдели,
Пошли звонить во все концы:
«Что за нахальство, в самом деле —
В квартиру ходят мертвецы!»

Свяжись попробуй с этим сбродом —
Накладней выйдет самому.
И осторожно чёрным ходом
Мы гостя вывели во тьму.



...4

Мой дядюшка намедни спятил:
Провозгласил в квартире вдруг,
Что не чиновник он, а дятел,
И в стену носом тук да тук.

Забрали дядю санитары,
А комната осталась мне.
Обои порваны и стары,
Портрет Барбюса на стене.

Обрёл я — дядюшке спасибо —
Диван, два стула и комод.
Сюда я девку пригласил бы,
Но больно мерзкий я урод.

...Вот звуки вальса зазвучали,
Заполнив институтский клуб.
В огнями освещённом зале
Как будто закипает суп.

Всё в розовой и белой гамме.
Лица любимого овал
В венце волос. А под ногами
У веселящихся — подвал.

Там, среди рухляди и пыли,
Вдали от праздничных огней
Два психа бомбу заложили
И шнур бикфордов ладят к ней.

Очередь

Духотища, пыль и зной,
Прямо пекло сущее.
У палаточки пивной
Очередь длиннющая.

Кружок блеск,
На мордах глянец..
Из проулка не спеша
Вышел пьяный оборванец
С автоматом ППШ.

Эх, и дал он очередь!
Уложил всю очередь..

Это было никем не замечено —
Появилась вдруг человечина
На блестящей витрине продмага.

Люди тешились нежностью вечера,
Льнули девушки к парням доверчиво,
Только я побелел, как бумага.



Я увидел между делом
Аккуратные куски —
На базаре женским телом
Торговали мясники.

Улучив момент потише,
Во дворе средь бела дня
Старый возчик дядя Миша
Изнасиловал коня.

Детвора кругом стояла —
Кто с санями, кто и без,
И свисало одеяло
Снега мокрого с небес.

В театре

В партере лысины блестели.
Махал руками дирижёр.
Гремели трубы. Скрипки пели.
Пылала сцена, как костёр.

Молил князь Игорь о свободе.
Кончак в ответ басил: «Не дам!»
Вдруг — женский крик, удара вроде,
Удара в трензель: «В ложе! Там!»

И весь театр единым духом,
Вздыхнул, на ложу глянув: «Ах!»
Там монстр сидел. С огромным брюхом.
Горбатый. О шести руках!

В одной руке держал программу,
Двумя — настраивал бинокль,
Тремя — накрашенную даму
Он обнимал, как осьминог!



Распластанный на плоскости стены,
Я умер для друзей в трёхмерном мире.
В ночи я вижу плоскостные сны,
А снов объёмных нету и в помине.

По мне идут мокрицы и клопы,
На мне висит красивая картина:
Полночный двор, фонарные столбы
И девушки, глядящие невинно.

В настенном состоянии моём
В разрезе виден я трёхмерным людям.
Как потерял я форму и объём —
Об этом лучше говорить не будем.



Наедине с самим собой,
Устав от суеты собраний,
Я тешусь медною трубой,
Сверкающей, как месяц ранний.

Как медным змием, я обвит
Широкогорлым геликоном,
И Римский-Корсаков гремит
Над городом многооконным.

«Мы выселим тебя, трубач!» —
Орут соседи в коридоре,
И золотистый лунный мяч
Дрожит от ихних ораторий.

Смерть старого мага

Он умер, старый маг, последний маг земли.
Смотрели молча дети и старухи,
Как гроб дешёвый на плечах несли
Со стариком выдавшиеся духи.

Два викинга в чешуйчатой броне,
Философ Ницше и писатель Гоголь,
И, следуя за ними в стороне,
Художник Рубенс нёс венок убогий.

Теперь тому, кто стонет без любви,
Не будет утешенья ниоткуда.
Теперь тому, кто буднями забит,
Не будет даже маленького чуда.

Он умер, добрый маг, последний маг земли!

Я устал марать бумагу,
Есть шашлык и тесто булок,
И пошёл я в гости к магу
В Старохамский переулок.

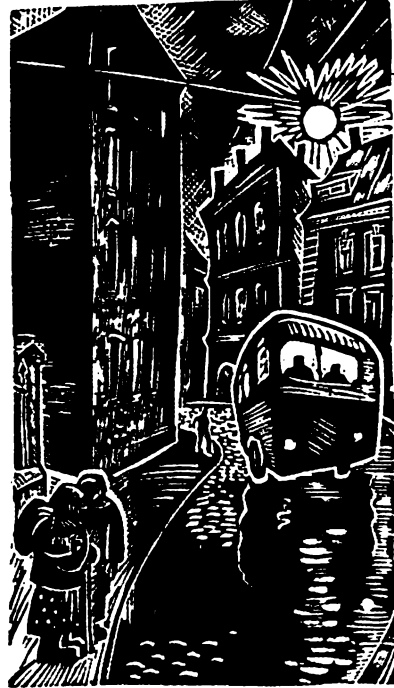
Небо сыпало на крыши
Серебристым звёздным маком.
Мне открыл, пароль услышав,
Старикан столетний с гаком.

Брови у него нависли,
Я сказал ему недлинно:
Ты меня не превратишь ли
В златовласого пингвина?

Снится мне пустынно-синий
Океан, и в нём торосы.
Исключает быт пингвиний
Все сомненья и вопросы.

Бороды седые пряди
Растеклись по брюкам старым.
Он ответил: дружбы ради
Превращу тебя задаром.





Автобус похоронный
К подъезду подкатил.
В реке, густой и сонной,
Плеснулся крокодил.

В нахмуренное море
Уходят паруса.
В готическом соборе —
Органная гроза.

Восходит шар огромный
Над улицей сумной.
Автобус похоронный,
Неужто он за мной?

Уроды

Когда заведут голоса непогоды
Унылую песню — в ней злоба и страх —
Ко мне обогреться заходят уроды
И шумно снимают галоши в сенях.

Я искренне рад посетителям странным,
Поставлю им чаю, нарежу лимон,
Сажусь в их кругу за душистым стаканом
И слушаю говор их, смутный, как сон.

Даю посмотреть им гравюрные папки.
Любовно они разбирают листы,
Потом одевают промокшие шапки
И молча уходят — в кромешность и стынь.



Лиловый конь

Мрак ночной зальёт дворов колодцы,
И к подъезду в полночь для меня
Маленькие тихие уродцы
Подведут лилового коня.

Выйду на ступени в жёлтом свете.
Брошу милым конюхам на чай.
Закорючкой чёрной на берете
За луну задену невзначай.

О судьбе по звёздам не гадая,
Прошное забуду без следа
И уеду тихо в никуда я,
Чтобы не вернуться никогда.

IV



Гоген открыл Таити,
А я открыл Лихоборы.
О, сколько тайн вы таите,
Покосившиеся заборы!

Гудок завывает забористо.
Рассвет неуютен и грязен.
Суровый народ — лихоборцы —
Идёт на завод и в магазин.

Кривые бараки в метели
И в ливне седые сортиры,
Я вам посвящаю трели
Минорно настроенной лиры.

А вы сохраните за это,
Сноска пока не коснулась,
Суровое детство поэта
И не менее мрачную юность.



Лихоборское детство

Я рос в за́копченном бараке,
В туманном мире детских грёз.
Сквозь песни пьяные во мраке
Стонал далёкий паровоз.

Плыла колючая ограда
В закатной тусклой полосе.
Солдаты Райха и Микадо
Маршировали по шоссе.

Кружились вихри снежной пыли,
Мерцали джунгли на окне,
И слышал я: того убили,
А ту раздели при луне.

Вечер в Лихоборах

Спустили трубы дымовые флаги
И пьяный пишет на снегу зигзаги,
И к автобазе с рёвом, как быки,
Усталые идут грузовики.

Как ждущие приказа канониры,
Напряжены угрюмые сортиры.
На свалках их, с приходом темноты,
Сшибаются бродячие коты.

В репейниках синеют буераки,
И вспыхивают окнами бараки,
И чёрная зловонная река
Прошита отраженьем огонька.

Вот этот мир моё запомнил детство.
Ему осталось тишиной одеться —
И наподобье красного блина
Над насыпью покажется луна.

Окраины

Видения окраин заводских
Полны невыразимого унынья.
Повсюду трубы, трубы, трубы, трубы,
Которых дым уходит в облака,
И между ними чахлые берёзки.
А там, где очень розовый забор
Граничит с серым, сумеречным небом,
Стоят три одинокие фигуры —
То трое распивают на троих.
О, заунывность городских окраин!





Баллада о сборщиках утиля

Обрывки неба стынут по канавам,
И, сумрачно бровями шевеля,
По пустырям, загаженным и ржавым,
Проходит Яшка — сборщик утиля.

За ним идёт его подруга Нюрка,
Вся в поисках железного дерьма,
На ней не шёлк, не драп, не чернобурка —
Дырявый ватник, шали бахрома.

Везут на тачке ржавые останки
Косматый Яшка с Нюркою рябой
В «Утильсырьё». А вечером по пьянке
У них в каморке крик и мордобой.

И пляшут тени на фанерной стенке.
(Так истово трудились не они ль?)
Родитель Нюрки, ветхий дед Гасенкин,
Для обороны выставил костыль.

И старый кот, абориген помойки,
Пугливо щурит изумрудный взор.
Он знает, чем кончаются попойки —
И ускользает в тёмный коридор.

А утром вновь сутулая фигурка
Бредёт мужчине мрачному вослед.
И воедино слиты: Яшка, Нюрка,
Паршивый кот и полумёртвый дед.



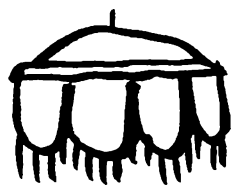
Дядя Яша Осташов

Во дворе стоит дядя Яша.
В животе — перловая каша.

Воробьи чирикают — птички.
Вдалеке гудят электрички.

Кот на лавке — усатый, чёрный.
Дверь открыта в женской уборной.

Дядя Яша стоит в галошах,
В довоенных штанах хороших.



● ДАЙТЕ РЕБЁНКУ ВОДКИ! ●



Лихоборский вальс

По лихоборским улицам,
Только взойдёт заря,
Тихо бредут Гасенкины —
Сборщики утиля.

Яшка нашёл два примуса,
Нюрка железный прут, —
Нужен великой Родине
Их вдохновенный труд!

А дядя Ваня Сарычев
Нынче устроил пир.
Есть на столе огурчики,
И колбаса, и сыр.

Выставил он соседям всем
Водки большой графин,
Вышел из заключения
Вовка — любимый сын.

А у пивнушки старенькой
Драка идёт опять,
И Никитюк сержант бежит
Спорщиков разнимать.

Вот наконец умолкло всё,
Кроме котов и крыс.
И над шоссе Михалковским
Месяц ночной повис.

Из поэмы «Лихоборская ночь»

Забрезжило синее утро,
Гудки застонали везде,
И вылезла Нюрка-лахудра
В загаженный двор по нужде.

Темна её морда рябая,
Гудит с перепоею башка,
И тихо над кровлей сарая
Огнём занялись облака.

А там, где в оврагах туманы
И насыпи тёмной гряда,
В далёкие, чудные страны
С гуденьем летят поезда.

Улица

Улица ты, улица!
Тишина и мрак.
В подворотнях чудится
Чей-то страшный зрак.

Мёртвою улыбкою
Скалится луна.
Проползает липкая
Скользкая весна.

Окна сонно щурятся,
В каждом спит семья.
Улица ты, улица,
Жуткая моя!



Небо осклизло
И время промокло.
Чёрная улица,
Жёлтые окна.

Пьяный рабочий
Бредёт полусонно.
Пьяную песню
Ведёт монотонно.

В шуме дождя,
Что звучит всё дремотней,
Тащится бедный
К родной подворотне...

Мир чёрно-жёлтый
Тяжек как молот,
Дождь тошнотворный
И холод, ой холод!

Чёрные мысли,
Жёлтые окна.
Небо осклизло,
Время промокло.

На мѣлкой окраине города
В бою раздвинулась земля,
И брюхо противника вспорото
Уменьши ударом ножа.

Но исто-то рывающему весело
То черену ржавой трубой
Заехав — и слышны мессиво
Алеет — и новые в бой

Вбегают отряды с кестетами —
Уж больше темна гни стрельбы —
И розаны, в сумрак одетыми,
Уветят ^{арсенальные} расклеванные нобы.



Драка

На тёмной окраине города
В бою разгулялась душа,
И брюхо противника вспорото
Умелым ударом ножа.

Но кто-то рычащему весело
По черепу ржавой трубой
Заехал — и слякоти месиво
Алеет — и новые в бой

Вбегают фигуры с кастетами —
Уж больно темно для стрельбы —
И розами, в сумрак одетыми,
Цветут рассечённые лбы.

На окраине

Угасает вечер ледяной.
Пьяные дерутся у пивной.

Раз по морде! Пять зубов долой.
На карачках уползай домой.

Нож отточен остро до тоски.
В слякоти растоптаны кишки.

Вот взвилась железная труба.
Ждут жильцов сосновые гроба.

Раззудись, тяжёлая рука!
Бац — и сломан хрящ наверняка.

А над ними — труб угрюмый ряд,
Мерзкий анилиновый закат.

На ветру дрожит последний лист.
Заунывный милицейский свист.

Лихоборский сонет

Удар доской по морде ненавистной,
И враг садится на лиловый снег.
Над нами кровля лунная нависла,
Нас здесь сцепилось десять человек.

С участием на нас остановись ты,
О взгляд луны из-под тяжёлых век!
Ночного ветра траурный разбег.
Деревья синеваты и ветвисты.

Уж трое вовсе вышли из игры.
Они лежат в сторонке до поры,
Оскалив зубы в небо ледяное.

Железный прут заржавлен и тяжёл.
Я падаю, обняв корявый ствол,
И кровь моя прощается со мною.



Двое

Месяц пробился сквозь облачный дым.
Один человек бежал за другим.

Один безоружным был. А другой —
Вооружён сосновой доской.

В степи полночной их бег был дик.
И вот один другого настиг.

Один другого что было сил
Доской сосновой благословил.

Спрятался месяц в облачный дым.
Один человек стоял над другим.

Какая ночь! Как ясен небосвод!
Спят тополя. Прозрачна их дремота.
Раскрыт для поцелуя нежный рот.
Чу! Хриплый крик. Зарезали кого-то.



Бой в подвале

В жутком подвале, в гулком подвале
Тусклые лампочки тьму разорвали.

Мокрые своды, осклизлый бетон,
Хруст костяной, затихающий стон.

Лестницы, спуски, вода на полу.
Скорчился труп в полутёмном углу.

Топот тяжёлый стремительных ног,
Хрип, матерщина, свирепый бросок.

Я окровавлен, противник убит.
Лампочка гаснет, но сердце горит!

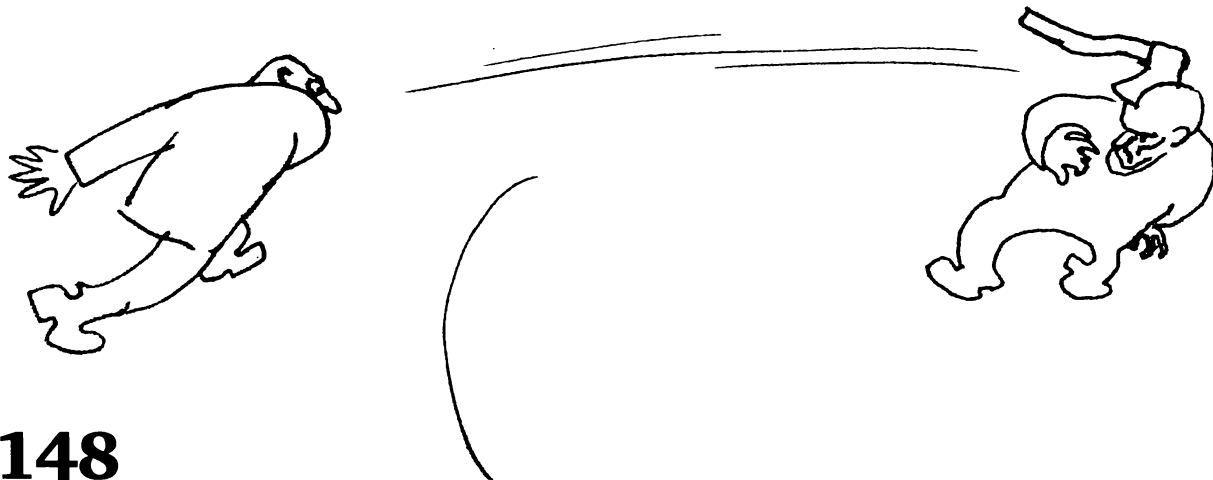
В тёмном подвале, в извилистой яме,
Бой топорами, бой топорами...

Похоронный марш

У музыкантов простуженных вид
Мрачный и сонный.
Падают листья, и глухо гремит
Марш похоронный.

Осень промозглая, сер небосвод —
Будто бетонный.
Лязгает медь, и неспешно течёт
Марш похоронный.

Яма осклизлая смотрит в зенит,
Мглой покорённый.
Падают листья, и глухо звенит
Марш похоронный.





Свадьба

Я сидел с невестой рядом.
Эх, и груди белые!
Хороши под маринадом
Рыжики и белые.

Под гармонику сплясать бы,
Студень вкусен оченно!
А потом из этой свадьбы
Вышла поножовщина.

Ни за что меня по морде
Полоснули бритвою.
Я на тёмную помойку
Выбрался с молитвою.

Дядя Миша на гармони,
На гармони заиграл,
Заиграл в запретной зоне —
Застрелили наповал.



В четыре утра — я услышал сквозь сон —
Рубился с женой на ножах Кацнельсон.

Мадам Кацнельсон — это баба дай бог,
В живот она мужу вонзила клинок.

Надрывно кричала старуха-свекровь...
Под дверь просочилась соседская кровь.

Сонет коммунальной квартиры

Большая коммунальная квартира
Жила как многолюдная семья.
Работал счётчик, и в тиши сортира
Ревела мощно бьющая струя.

Детей пороли, на руки плюя,
Задумчиво блевали после пира,
И хвастались, как золотом мундира,
Количеством посуды и тряпья,

И спать ложились. Лампочка одна
Тускнела в коридоре как луна,
И дядя Петя, сторбленный и старый,

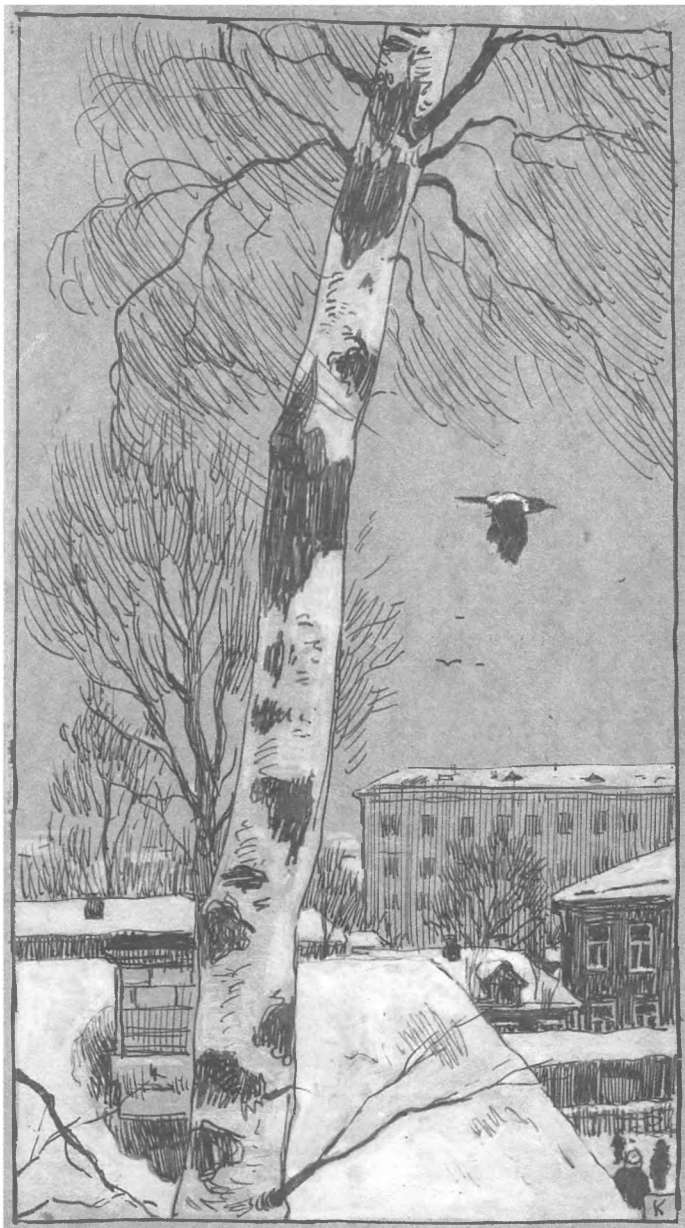
На животе кальсоны подобрал,
Всё слушал, как ритмично величав
Матраца звон под новобрачной парой.



Ночной крикун, обжора, забияка,
С дуэльными рубцами на носу,
В бурьяне, что разросся у барака,
Он рыскал как в тропическом лесу.

Суровы были люди и природа,
И от тепла я таял в полусне,
Когда далёкий родич махайрода
Под одеяло залезал ко мне.

Он был еврейский кот. Его убили
И на помойку выбросили труп.
Ревели по шоссе автомобили
И дым стелился из фабричных труб.



Песня японских военнопленных

Дождя поволока косая
Мерещится в тёмном окне.
Гравюрка висит Хokusая
На скользкой барачной стене.

И руки над печкою грея,
Стоит перед тёмным окном
Вдова инженера-еврея,
Убитого в тридцать восьмом.

А там за окном буераки,
Заборы, канавы, столбы,
Посты, фонари и собаки,
Охранников низкие лбы.

Как свечки оплывший огарок,
Над вышкой мерцает луна.
Сквозь лай караульных овчарок
Японская песня слышна.

Московское зарево хмуро,
А где-то у милых ворот
Колышется ветка сакуры
И колокол в храме поёт...

Ворон пролетающих стая
Как будто застыла в окне.
Гравюрка висит Хokusая
На скользкой барачной стене.

Из поэмы «Антон Енисеев»

В краю, где словно не было весны,
Прошло моё затравленное детство.
Куда мне от воспоминаний деться,
И как прогнать навязчивые сны
Про очереди, мрачные бараки,
Про ругань, песни пьяные и драки?

Посёлок наш у городской черты
Я помню, был невероятно грязен.
Там, словно церковь, высился мага́зин.
Он влѣк к себе желанья и мечты.
И на ступенях, что вели ко входу,
Сидели нищие в любое время года.

Когда алел над крышами восток,
И плыл туман над речкою зловонной,
Звучал повсюду низкий, монотонный,
К работе призывающий гудок.
И шѣл народ к воротам без веселья,
Качаясь от тяжѣлого похмелья.

Страна моего детства

Я вырос в жуткой сумрачной стране,
Там в слякоти тонули тротуары,
И пьяные лежали в тяжком сне,
И хмурились облезлые хибары.

Там вечерами, сидя на бревне,
Соседи разводили тары-бары,
И грузовик ревел в ночи, и фары
Скользили по заплатам на стене.

Я был совсем недавно в том краю.
Дома многоэтажные в строю
Глядят так жизнерадостно и бодро!

Но уползают сны мои туда,
Где газа нет на кухне, и вода
Так шумно хлещет из колонки в вѣдра.





Гудок. Тушь, акв., картон. Конец 1950-х

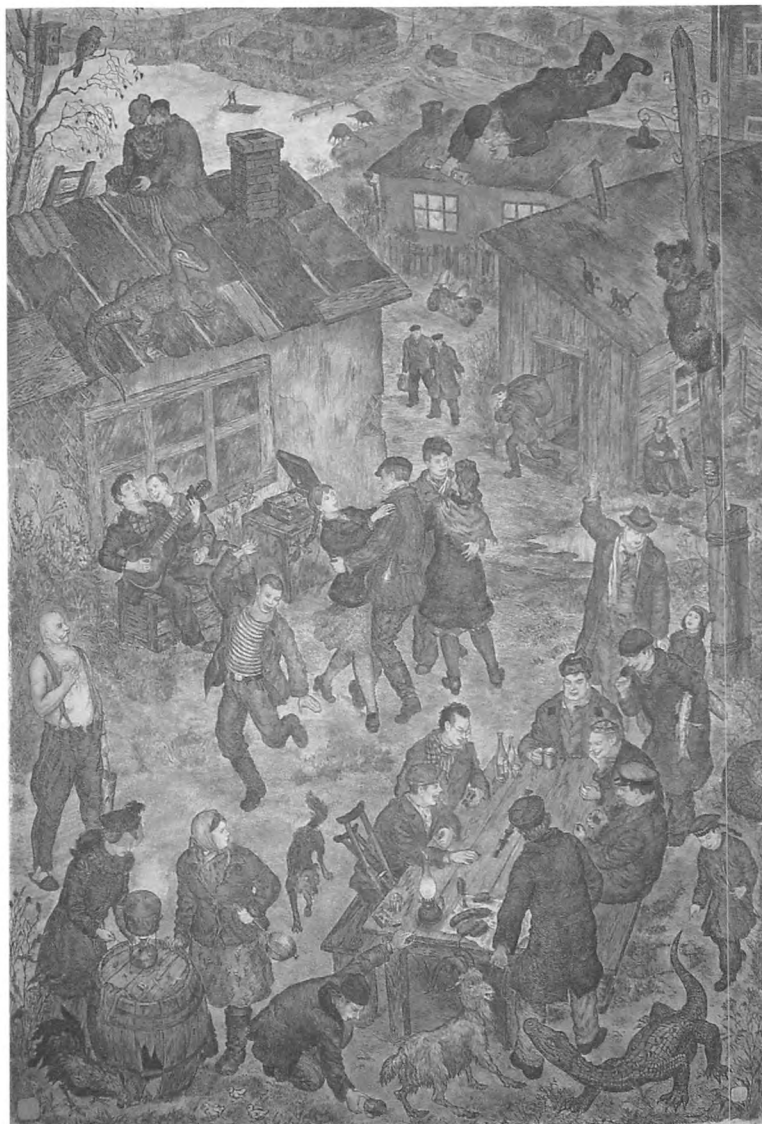
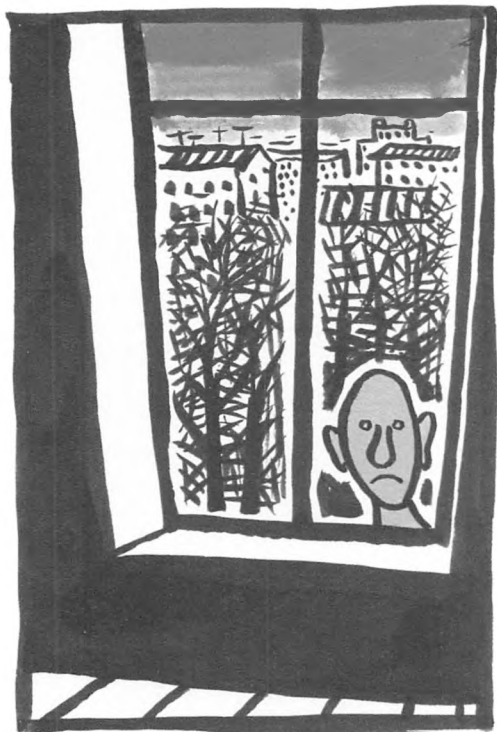
ЧП в Лихоборах.
Масло, грунтованный картон.
1968?





Тётя Поля. Масло, грунтованный картон. 1968?

Сон Алика.
Тушь, гуашь, кисть, перо. 1959



Вечеруха. Масло, грунтованный картон. Конец 1960-х



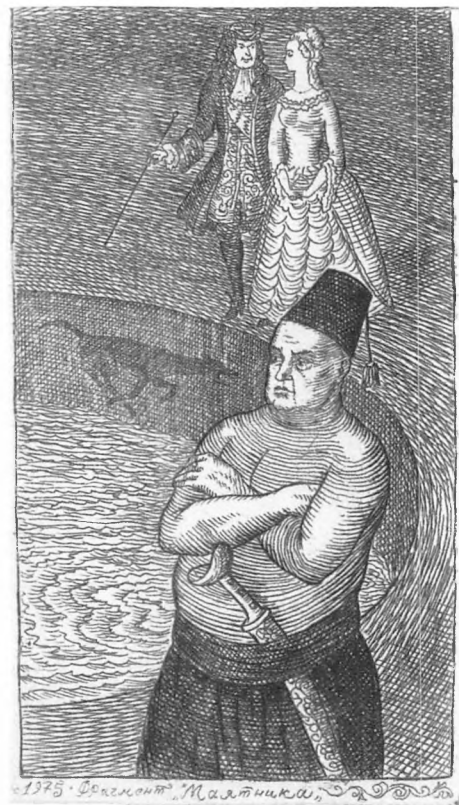
Охота на Жар-птицу.
Тушь, гуашь, кисть, перо. 1964



Не пошло (антиалкогольный плакат).
Тушь, гуашь, кисть, перо. 1964

Созвездие Рыб
(фрагмент композиции
«Маятник»).

Гравюра на меди. 1975



Гурджиев (фрагмент
композиции «Маятник»).

Гравюра на меди. 1975

V

Мои стихи

Туманным утром, мокрым и холодным,
Я поднимаюсь, в рот кладу три пальца
И задаю протяжный, резкий свист.
И строятся мои стихи по свисту —
Угрюмые, небритые бродяги
С ножами и оружием скорострельным,
Забрызганные слякотью дорог,
Чёрт знает как одетые. И я
Иду по строю и лицом светлею.
Я вижу, что они, как я, готовы
Идти за светлую идею в бой,
Что их ножи болезненно остры,
И смертью распираемы подсумки.
Восходит солнце. Зыблется туман.
Крик петуха над уютным миром.
И я, оглядываясь, говорю:
«Пора, ребята!»

Я Вечности принадлежу. Она
Меня содержит. По её заказу
Линолеум я режу по ночам
И складываю столбиками строчки.

Я Вечности принадлежу. А людям
(Не всем, конечно) это невдомёк.
То форму на меня они оденут
Солдатскую, то выльют на меня
Своих суждений тёплые помои,
То оштрафуют за проезд свободный
В троллейбусе...

Мне нравятся приёмщики посуды.
Бесстрастные как идолы, они
Ощупывают грубыми руками
Бутылок горлышки, среди них находят
Побитые иль импортные тотчас,
И отставляют в сторону сурово.
На них халаты, серые, как небо,
За ними возвышаются Нью-Йорки
Из ящичков, мерцающих стеклом.
Я с милой пил прекрасное вино,
Иль где-то на троих сообразили
Угрюмые пропойцы в подворотне —
Им всё равно, приёмщикам посуды.
Мне нравятся приёмщики посуды —
Властители некрополей стеклянных,
Медлительные призраки похмелья,
Бесстрастные как Вечный Судия.



Гравюра

Я весь — огромный штихель,
Головой вопьюсь в линолеум,
Войду и выну стружку.
Но властная могучая рука,
Которая упрётся в рукоятку,
Направит бег мой в пятнах и штрихах.
И вырежет прекрасную гравюру.
И оттиск взяв, потомок скажет:
«Чёрт возьми! Как тонко и графично,
Как остро и красиво по штриху.
Да, вот бывали в старину гравёры.
А что сейчас?!» и языком прищёлкнет.
И побежит показывать жене.



Жизнь гравера

Сижу один в своём углу,
Рукою подперев скулу,
И на готовое клише
Гляжу с тоскою на душе.

А ветер дует за окном,
И в небе, сером и пустом,
Мелькают надо лбами стен
Стада промокшие антенн.

Осталось краску накатать,
Бумагу тонкую прижать,
И, потрудившись гребешком,
Паршивый оттиск снять потом.

Художник

Художник краски выдавил. И взял
Кистей десяток. И работу начал.
Рабочий угол тесен был и мал.
Мешали дети, бегая и плача.

На плохо загрунтованном холсте
Он написал сверкающие бёдра,
Сосок, подобный розовой звезде,
И волосы, лежащие свободно.

Огнём и сумраком струился фон,
Светился торс, опалом отливая. . .
Художник был влюблён и утомлён
И улыбался, руки отмывая.

Но стала вновь реальностью стена.
За ней сосед — шпион и соглядатай.
Потом пришла сутулая жена
И завопила: «Дармоед проклятый!»

Февральская лазурь

Не будет больше снежных бурь
И ледяных беззвёздных стуж.
Ясна февральская лазурь,
Отражена в разливах луж.

Но пусть — весенний дух хмельной,
Капель и воробьиный скок —
И этой новою весной
Я буду снова одинок.

Двойная луна

О, какая стоит тишина!
И в воде отразилась луна.
Если чуть заколышется блик —
Это в небе, не в озере сдвиг.

Я смотрю на двойную луну,
В эту ночь я навряд ли усну,
Но сирени дурманящий дым
Не смешать мне с дыханьем твоим.



Одинокое окно

В лунной сини бродят кошки,
Город замер, город стих.
Лишь одно горит окошко,
Там не спит какой-то псих.

Постовых качает дрёма,
И совсем-совсем одно
На стене громады дома
Это странное окно.

Как всем известно, человек
Произошёл от обезьяны,
И унаследовал изьяны,
Что не исправятся вовек.

Нередко в связи с предком древним
Нас уличает внешний вид,
А в юном возрасте томит
Желанье лазить по деревьям.

Неглупый Дарвин был старик,
Когда все чудеса прогресса
Из глубы девственного леса
Он взял и вывел напрямик.

И, может быть, придёт пора,
Когда, подобно древним предкам,
С весёлым гомоном по веткам
Мы вновь запрыгаем с утра.



Пещерные люди

Мы пещерные дикие люди,
Наш удел — героический труд.
Нам не надо изящных орудий,
Нам не надо изысканных блюд.

Мы осколки кремнёвые ценим,
Чтобы дротик в бизоне засел.
Уж огонь добываем мы треньем,
Недалёко до лука и стрел!

Побеждая животных могучих,
Мы в грядущее смело идём.
Разве прадед, дремавший на сучьях,
Мог мечтать о расцвете таком?

Перепачканы жиром оленьим,
Мы пируем всю ночь у костра,
И потомки глядят с уваженьем
На отбитый кусок топора.

Наши девушки малость сутулы,
Мы и сами не очень стройны.
Выпирают широкие скулы,
Даже если глядеть со спины.

Мы в пещере живём коммунальной,
Мы не платим за газ и за свет,
И не давит нас кодекс моральный —
Вместо брака промискуитет.

За интимные наши моменты,
За прогулки вдвоём при луне,
Мы не платим всю жизнь алименты,
Не относим получку жене.

Мы фигурами тварей косматых
Украшаем за́копченный зал,
Чтоб потом восхищённый Алпатов
В первом томе о нас написал.

Памяти моей первой любви Л.А.К.

Бесследно исчезла
Любовная гарь.
Я понял:
Она — заурядная тварь.

Дала ей природа,
Чтоб к ней я
Примёрз,
Лишь алые губки
И развитый торс.

Зачем же
Мечтал я о ней
По ночам,
И письма писал,
И курил фимиам?..

Никто не оплатит —
Кого ни зови —
Расходы на почту
И бред о любви.

Объяснение

Конский щавель, лебеда, репейник
На пологом склоне разрослись.
Догорало небо над деревней,
Угасала облачная высь.

Никли ивы чёрными стволами,
И река блестела холодной.
Пастухи ужасными словами
Обзывали смирных лошадей.

Я спускался тем пологим склоном.
Объясненье было впереди,
И, как это свойственно влюблённым,
Сердце вырывалось из груди.

Мне казалось, будто я — десантник.
Дал команду строгий старшина.
Вот лечу я, в воздухе распластан,
А внизу — враждебная страна...

Улыбались лошади в тумане,
Полусонно уши распустив.
Где-то подбирали на баяне
Слышанный по радио мотив.

Юбки длинные ещё носили,
И недавно был разоблачён,
Как тогда народу объяснили,
Высокопоставленный шпион.

Целина была ещё в зачатке,
Только пахло космосом едва...
До сих пор я помню, как несладки
Были утешения слова.

Был таким родным, обыкновенным
Мир вечерний, окружавший нас...
Помнится, в издательстве военном
Видел я её в последний раз.



Вечер на ипподроме

Я был влюблён без всякой перспективы
И написать контрольную не смог.
По улицам сквозь выюгу торопливо
Струился человеческий поток.

И я нашёл в конюшне ипподрома
Душе необходимое тепло.
Там было всё так мило и знакомо,
Уютно, чисто, хоть и не светло.

Из темноты задумчиво и кротко
Там рысаки глядели на меня,
Копытом бухая в перегородку
И шеи лебединые клоня.

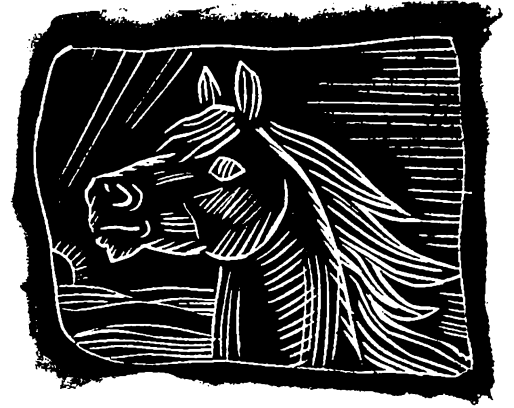
Обряд и Импульс, Жест, Краса Завода,
И Вокалист, и Каменный цветок.
Орловская и русская порода...
Я многих бы ещё припомнить мог.

Струились до скакательных суставов
Прекрасные волнистые хвосты.
Глазами изумрудными блистали
Конюшенные толстые коты.

Всегда в конюшне кошка будет сытой:
Где есть овёс, там множество мышей,
А чтобы не попала под копыта —
На деннике устроен домик ей.

Без абажура лампочка горела,
Под ней за однотоумбовым столом
Сидела в телогрейке тётя Вера
И чай пила с каким-то мужиком.

Мы радостей простых не замечаем
В томительной рутине бытия.
Стакан гранёный с крепким сладким чаем
До дней последних буду помнить я.



Я отогрелся в этот вечер вьюжный.
Вздыхая, засыпали рысаки,
И чистокровный жеребец Поддужный
Губами сахар взял с моей руки.

На затемнённой временем картине
Увидел я похожие черты...
А сколько было в этой животине
Спокойствия и нежной доброты!

К атласной шее ухо приложил я
И было слышно, как внутри коня
Гудит дыханье, кровь бежит по жилам,
И сердце бьётся, словно у меня.

Я долго трясся в ледяном трамвае,
В автобусе, а после шёл пешком,
И выюга, монотонно завывая,
Хлестала по лицу сухим снежком.

Горели окна низкие барачков,
Терялся в бесконечности забор,
И был пейзаж повсюду одинаков —
Хибарами застроенный простор.

А там во мгле, где край равнины плоской
И мачт высоковольтных череда,
Прочерчивая узкую полосу,
С гуденьем пролетали поезда.

И на душе светло и тихо было,
И всё с улыбкой вспоминалось мне,
Как плакала рысистая кобыла,
Увидев что-то страшное во сне.

Японский нож

Старик, исколесивший весь Восток,
За полтора ста старыми деньгами
Мне продал удивительный клинок
И пить ушёл нетвёрдыми шагами.

То был японский потемневший нож
В изящных ножнах из змеиной кожи.
Теперь его обратно не вернёшь.
Как знать, быть может стоил он дороже?

Я этот нож ни разу не точил,
В нем видя вещь музейного значенья,
И нёс меня под сень иных светил
Извилистый поток воображенья.

Чей украшал он шёлковый наряд,
Кому в глаза поблескивал недобро?
Чей крови ощущал он аромат,
Когда влетал стремительно под рёбра?

Воды немало утекло с тех пор,
Переживал потери я похлеще.
Не жаль того, кто нож японский спёр...
Так что жалеть об антикварной вещи?

Еврейская эскадра

Идут кильватерной колонной
Евреев грозные суда,
Их Хаим Пищик непреклонный
Ведёт неведомо куда.

На вахте — полные отваги,
Вперяют взоры в горизонт
Евреи Гомеля и Праги —
Мовшович, Кац и Гершензон.

Калибр орудий — веский довод:
Не суйся к ним, а то беда!
Горит на флаге могоендовид —
Шестиконечная звезда.

Так, не вмещаясь в рамки кадра,
Взрезая пенные валы,
Идёт еврейская эскадра,
Качая грозные стволы.

Кошачий сонет

Когда, подобно аспидной пантере,
Чернеет ночь, и снег не знал лопат,
Вопят в ночи взъерошенные звери,
Влюблённые в усатых клеопатр.

На дне двора вой гулок, как в пещере.
Хвосты торчком. Тысячелетья спят
В глазах зелёных. Ненависти яд
Течёт из пасти, как из адской двери.

Кошачий вой со спящим миром врозь
Я слушаю, пронизанный насквозь
Неистовством пронзительных пассажиров.

О, мне бы с вами, злобные коты,
Нырять в зловонном море темноты,
Рычать и лапой бить по морде вражей!



Котёнок

Я нашёл в подворотне котёнка.
Замерзая в тени от ворот,
Он кричал безнадежно и тонко,
Разевая рубиновый рот.

Я за пазуху котика спрятал
И принёс в комнатушку зверька,
Бутерброд заповедный потратил,
Полбутылки налил молока.

А когда, потянувшись устало,
Я кальсоны повесил на стул,
Он залез под моё одеяло
И с мурлыканьем тихим уснул.

И украсился тихим мурлыкой
Холостяцкий занудливый быт.
Возвращаешься полночью дикой —
А у двери котище сидит.

Только больно уж быстро растёт он,
Вся получка идет на прокорм.
В полкаморки хвостике размётан,
Нипочём ему хлеб с молоком.

Полыхают на морде огромной
Точно фары, два тусклых огня.
Подрастает мой котик бездомный,
Видно, скоро он съест и меня.



Над городом щербатая луна
Повисла, словно крышка от кастрюли,
И парочку мои шаги вспугнули.
Немудрено, ведь в городе весна.

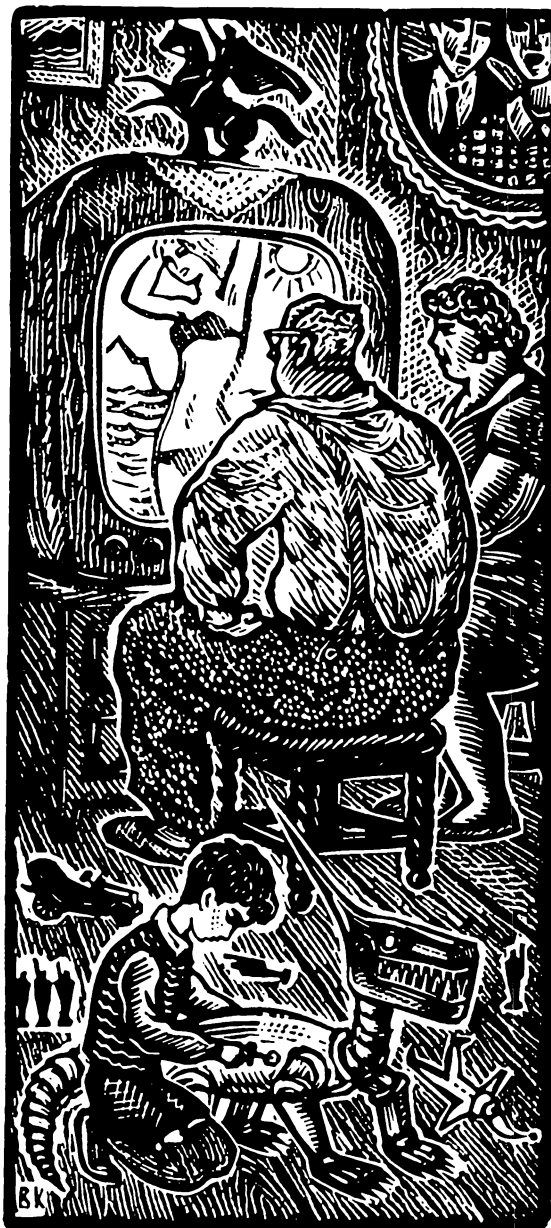
У кошек завершается сезон,
Мелькают тени в сумраке неплотном,
Кричать и драться свойственно животным,
Таков биологический закон.

Меняется мой город на глазах:
Там, где уютился домик симпатичный,
Теперь пустырь зияет непривычный,
Весь в мусоре и битых кирпичах.

Здесь возведут, наверно, дом жилой,
Где совершатся новые зачатья,
И тех людей уже не буду знать я,
Ведь я почти на финишной прямой.

И будут ли они счастливей нас,
Наследники грядущего прогресса...
Занятно б знать! Но времени завеса,
Увы, непроницаема для глаз.

Над городом щербатая луна
Повисла, словно крышка от кастрюли,
И парочку мои шаги вспугнули.
Немудрено, ведь в городе весна.



Бронтозавр

Ты был степенно величав.
На солнце утреннем блестело,
Из тины медленно восстав,
Твоё чудовищное тело.

Во мгле болот, во мраке роц
Кишели сонмища созданий,
И ты, жуя огромный хвощ,
Средь них блаженствовал, как в бане.

И лёгкой головой вода,
Воздушные не строя замки,
Сквозь дымку тёплого дождя
Ловил ты взгляд знакомой самки.

В музее тишь и блеск витрин,
Рогов и рёбер очертанья.
И ты, болотный исполин,
Представлен в целях назиданья,

Чтоб видеть граждане могли
Скелет торжественный и прочный.
Но как и ты, с лица земли
Исчезну я в свой час урочный.

Иные вырастут цветы
Средь исторических обломков,
Но вряд ли я смогу, как ты,
Привлечь внимание потомков.

Видел я немало лошадей —
Верховых, рабочих и рысистых,
Беспородных и по крови чистых —
Повидал я в жизни лошадей.

Видел я немало и людей —
Пьяных, трезвых, мрачных и весёлых,
В орденах, при кортике и голых —
Повидал я множество людей.

Сделать вывод я могу такой:
Я заметил, странствуя по свету —
Лошадей плохих на свете нету,
Человек бывает и плохой.



Брат, открой! Свирепая метель.
Стужа беспощадно жестока.
Я в лохмотьях, бесконечна ночь!

Не могу ничем тебе помочь.
Я раздет. Я выпил коньяка.
Я ложусь с любовницей в постель.



Человек с головой коня

Дождь и ветер скреблись в окно,
Было страшно мне и темно,

В эту ночь посетил меня
Человек с головой коня.

Он пришёл разогнать тоску
И принёс бутылку коньяку.

Стало нам веселей вдвоём.
Он сказал мне: давай споём!

И запели мы Ермака,
Задушевно, не в лад слегка,

И пронзительный ветровой
Был аккомпаниментом вой.

На заре ушёл от меня
Человек с головой коня.

Если б он не пришёл помочь,
Я б повесился в эту ночь.

Бездна

Вот она, бездна. Дантовой глуше.
Суньтесь туда — задохнётесь от смрада.
Зачем же лезть человеку в душу?
Не будьте психологами. Не надо.

Я ненавижу слово «мы».
Я слышу в нём мычанье стада,
Безмолвье жуткое тюрьмы
И гром военного парада.

Как золотые липы хороши
Меж зданьями Покровского бульвара!
Ко мне — я слышу запах перегара —
Подходят молодые алкаши.

Папаша, где ближайший гастроном?
В их тоне слыша нотки уваженья,
Я объясняю местоположенье,
И вот они уходят за вином.

Стою, гляжу на липы, на закат.
Вот я уже для юношей «папаша».
Как всё же быстро жизнь проходит наша,
И не поймёшь, кто в этом виноват.



Весна

Вот опять пришла весна,
Хороша, как пиво с воблой,
От зимы погодой тёплой
Отличается она.

Во дворах поют коты,
И над мокрою столицей
Пролетают вереницей
Затаённые мечты...

Вновь гитарная струна
Где-то в сумерках задета.
Вот опять пришла весна,
А за ней наступит лето.

Вот весна пришла опять,
Расцвела природа.
Снова некого обнять
В это время года.

Скоро стану всё равно
Лысым как коленка.
Жизнь похожа на кино
Студии Довженко.

Автопортрет

Из глуби зеркала глядит
Мужчина средних лет.
Разносторонний эрудит,
Художник и поэт.

Немного отрешённый взгляд,
Немного свёрнут нос —
Закономерный результат
Того, что перенёс.

И можно (в этом нет беды)
Сказать наверняка —
Не гладит клочья бороды
Лилейная рука.

Плоды земные любит он
И выпить не дурак.
И ценит он здоровый сон
Превыше всяких благ.

Добавим блеск очков — и вот
Покорный Ваш слуга...
Лишь над челом недостаёт
Лаврового венка.

Вот наконец прошёл и я
Земную жизнь до середины.
И в передрягах бытия
Меня украсили седины.

Запаса скромный офицер
Лишён я гордого величья.
В метро, увы, под сенью сфер,
Свою не встречу Беатриче.

Пусть что угодно на стене
Рука начертит огневая —
Всегда останется при мне
Моя улыбка, чуть кривая.





Без бороды — что за козёл?
Что без вина — накрытый стол?

Что за охотник — без ружья?
Что за собака — без чутья?

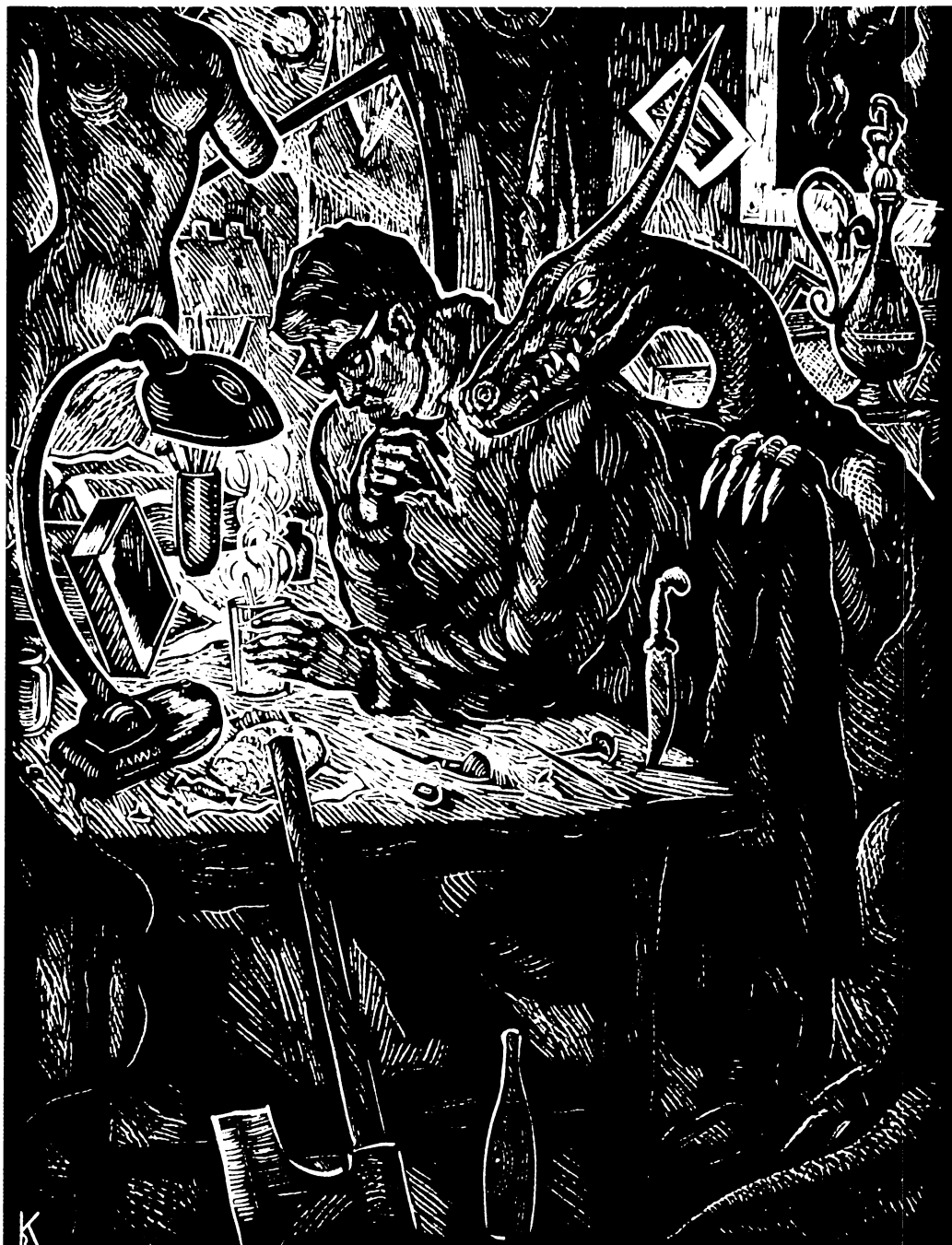
Без аромата — что за роза?
Что за художник — без психоза?

В моей каморке холодно и сыро.
Уснула коммунальная квартира.

На улице дождливо и темно.
Погасло чьё-то тусклое окно.

Огромный дом уснул в холодной сетке
Дождя. Ночует хахаль у соседки.

И скрип, и стон, и хриплый разговор —
Всё слышно мне. Как гулок коридор!



Гравёр

Шумом и тревогами богата,
Ушла вся жизнь за стены мастерской.
Рукой назад закинув чуб косматый,
Я стал резцом и граверной доской...

Шуршит резец, поскрипывает сухо,
Упрям и точен глаз моих прищур.
Я образ вызову из дерева, как духа,
И в переплёте линий воплощу.

Засветилась плешь на темени.
Стала твёрдою рука.
Сколько мне осталось времени
До последнего звонка?

Ждёт резца прикосновения
Полированная медь.
До последнего мгновения
Только б, Господи, успеть!

О творчестве

Всё это, конечно, очень странно,
Всё это, конечно, очень дико,
Если вдруг из незажившей раны
Вырастает красная гвоздика,

Если человек гвоздику эту
Бережно сорвёт и ставит в воду,
Чтоб она была поближе к свету
И видна досужему народу.

Хулителям

Наверно, вы не так уж плохи,
Не так глупы и нечисты,
Вы, современной мне эпохи
Неароматные цветы.

Я не поддамся злему ражу
Моих подвыпивших друзей,
Я вас по темени поглажу
Брезгливой жалостью своей.



Тишь

В тиши полуночной сижу
И тихо штихелем вожу.
Змеится стружка; желобок
Приятно ровен и глубок.
На батарее дремлет кот,
На окнах искрящийся лёд,
За ним глухая чернота
И пузо ходит у кота.
Часы стрекочут: мерный стук
И в нем приглушенный испуг.
Густеют тени по углам,
Блестят картины охрой рам,
На окнах искрящийся лёд.
Со мною только белый кот.

Новый день

Что несёшь ты, новый день?
Труд упорный или лень?

С кем я выпью ввечеру,
Если денег наберу?

Будь ты плох или хорош, —
Встречи с милой не несёшь.

Будь ты проклят, новый день!

Из поэмы «Антон Енисеев»

У входа там приветствовал гостей
Хозяина единственный сожитель,
Окрестных мурок грозный повелитель,
Огромный кот по имени Помпей,
И на стенах кривились как в кошмаре
Какие-то оскаленные хари.

Хозяин там, художник, а точнее — студент,
Толстяк в кругах очков, похожий на японца,
Эмалированной кастрюли донце
Преображал в ударный инструмент,
Когда, портвейна осушив полкружки,
Он пел свои баллады и частушки.

Здесь непонятный собирался сброд:
Хозяина унылые коллеги,
Девицы — сексуальные калеки,
Солдаты, убежавшие из рот,
И, ставший психиатром по ошибке,
Играл Егидес на разбитой скрипке.

Потом я к Кропивницкому попал.
Там было всё благопристойно-чинно.
Хоть без зубов — по той простой причине,
Что лагерный десяток разменял —
Всем улыбался здесь глава салона.
И чушь любую слушал благосклонно.

Он собирал стихи, как антиквар,
Магнитофонной плёнки не жалея,
И в папки клал любую ахинею,
Несомую художниками в дар.
И тем был счастлив, что в уют квартиры
С угрозой не ворвутся конвоиры.



Из поэмы «Антон Енисеев»

И вот в один из тех сумбурных дней
Мы очутились в логове Мамлея.
Здесь опишу я, красок не жалея,
Тот странный восковых фигур музей,
Где собирались, чтоб развеселиться,
Угрюмые шизоиды столицы.

Жил в переулке Южинском Мамлей.
Соседей ненавидящие взгляды
Впивались, точно пули из засады,
И прошмыгнуть хотелось поскорей
Туда, откуда в гулкость коридора
Неслось глухое завыванье хора.

Коль не хватало выпивки на всех —
Здесь спорили, чуть серой не плевали,
И Пушкин сам, я думаю, едва ли
В подобный вечер встретил бы успех.
Когда ж в достатке приносилось зелье —
То наступало братское веселье.

С церковником здесь обнимался йог,
И западник мирился с русофилом,
Все распевали — что кому по силам,
Покуда не являлся на порог,
Соседями подослан, участковый —
И гости разлетались, точно совы.

.....
.....

Сюда Семькин хаживал. Он был
Официант большого ресторана.
С хозяином он спорил постоянно,
Изрядный обнаруживая пыл.
Хоть пил он водку и ругался матом,
Но к православным тяготел догматам.

В тот вечер он пришёл из кабака.
И в затхлой комнате каким-то странным,
Нездешним, сладким ароматом пряным
Забился вдруг цыпленок табака.
И, точно вызов на рубашке белой
Крестом мальтийским бабочка чернела.

Мамлеев в кресле восседал в углу,
И с жаром солипсиста-демагога
Он поносил Семькина и Бога,
На них обоих изрыгал хулу.
И наконец, уже глубокой ночью,
Он разорвал Евангелие в клочья.

«Ничтожество!» — и, глядя на юнцов,
Их шумным одобреньем успокоен,
Он намекнул, что тот, мол, недостойн.
«А вот достоин!» — крикнул богослов,
И, павши ниц, как пред иконой инок,
Поцеловал Мамлееву ботинок.

Утренний гость

Осенняя ночь неустанно дождила,
В деревьях шепталась нечистая сила,
Жмурил кот изумрудное око
И было мне дико и одиноко.

А на рассвете пришёл Мамлеев,
Улыбкой нежной меня облеяв.
В руке его зонтик, в другой — тетрадка,
Брюшко небольшое уютно и гладко.

Сказал он с порога, вместо привета:
«Есть добрые вести — с того света!»

Чирикают птички, и утро такое,
Что хочется ласки, любви и покоя.
Но жизни условия жёстки, как жель,
А утро и птички — пожалуйста, есть.



Тлеет небо, лужи, сырость,
Облетает старый вяз.
Я по улице, где вырос,
Прохожу в последний раз.

В подворотне тьма густая,
Дворник шаркает метлой,
Павших листьев подметая
Золотисто-красный слой.



МЫ С ЮРОЙ
ГУЛЯЕМ
НАЧЬЮ

Сонет Коле Устинову

Уж фонари затеяли игру
И улицы безмолвны, как погосты. . .
Ко мне приходит тихо ввечеру
Мой старый друг, приземистый и толстый.

Придумали мы странную игру,
Провозглашаем темы, словно тосты,
И слов шальных случайные наросты
Смакуем, как зернистую икру.

Совсем темно и тихо во дворе.
Засохший труп висит на фонаре.
Над городом паук раскинул сети.

Выводит ветер тягостное «ре»,
А мы в давно придуманной игре
Хохочем и беснуемся, как дети.

Устав от рисованья,
Пробежав день-деньской,
Лежу я на диване,
Оставшись в мастерской.

Все кошки ночью серы —
В кустах они вопят.
У гипсовой Венеры
Бесстрастен голый взгляд.

Струится сквозь решётку
Луны холодный свет,
И вновь пришли на сходку
Друзья минувших лет.

Неспешно, как в театре,
Проходят предо мной
Четыре психиатра
И лётчик отставной...

С тем сблизил лист бумаги,
А с этим — Зигмунд Фрейд,
И с кем-то совершил я
За девочками рейд.

Художники, схоласты,
Питомцы разных муз,
И просто педерасты —
У каждого свой вкус,

И каждый счастья птицу
Ловил по мере сил —
Кто отбыл за границу,
Кто в партию вступил...

Неспешно, как в театре,
Уходят в мрак ночной
Четыре психиатра
И лётчик отставной.

И память кошкой серой
Ласкается ко мне...
Я с гипсовой Венерой
Опять наедине.

Ах, где вы нынче, где вы,
Где скрылись от меня —
Нестройные напевы,
Романы на три дня?

В густом словесном тесте
И водочном раю
Растратил с ними вместе
Я молодость свою.



Что-то важное забыл я,
Не могу припомнить что:
То ли съесть сырок с ванилью,
То ли вычистить пальто.

Может сбегать на Покровку
В кулинарный магазин?
Может выпить поллитровку
С исполнителем картин?

Что-то важное. Но что же?
И припомнить нету сил.
Вспоминаю. Боже, Боже!
Самого себя забыл.

С отчаяньем бороться всё трудней.
Всё чаще к горлу подступает мука.
Она ползёт в дремучих дебрях дней,
Как золотисто-чёрная гадюка.

Но я живу, встречая свет и тьму,
И совершаю истово работу,
Прикованный к искусству своему,
Как гитлеровский смертник к пулемёту.



Я разложил костёр на пустыре
Из дневников и юношеских писем.
Взметнулись искры в огненной игре,
И дым взвился к осенним чёрным высям.

Страницы перелистывал огонь.
Горели дифирамбы и проклятья.
И запах роз, и алкоголя вонь —
Всё пожирало пламя без изъятя.

Схватившись грудь на грудь в ночном бою,
Охрипшие коты орали где-то,
А я курил. И молодость свою
Подбрасывал в огонь носком штиблета.

Тоска

Отчего бывает так, не знаю,
Но приходит вдруг издалека
Злая, непонятная, глухая,
Иррациональная тоска.

И тогда, её придавлен силой,
Верный штихель выронив из рук,
Вижу вместо лиц — свиные рыла,
Вместо речи слышу мерзкий хрюк.

И мечусь по городу я шало,
Зданья пролетают, точно сны,
И готов заплакать я устало
На груди у каменной стены.



Коль сад зима обременила —
Весна прогонит туч свинец.
Но если муза изменила —
Вот это, братец мой, конец.

Не в бою, не на дуэли,
А скорей всего
Просто я дождусь в постели
Часа своего.

Навсегда покинет тело
Страница-душа,
И друзья, закончив дело,
Выпьют не спеша.

А кремлёвские куранты
Будут бить и впредь,
Так же будут аспиранты
В Ленинке сидеть.

Как обычно, будут росы
Выпадать в ночи,
И писать свои доносы
Будут стукачи.

Те же выглянут светила
На исходе дня...
Всё останется, как было,
Только без меня.

Кто-то станет у штурвала
Моего станка?
Инструменты для металла
Чья возьмёт рука?

Кто дырявую картонку
Снимет со стола
И снесёт в комиссионку
Кучу барахла?

Прощание

Окончен путь земной,
Навек закрыты губы,
И плачут надо мной
Сверкающие трубы.

Прощайте! Лёгкок шаг
И взгляд лучист, как Вега.
Загробной жизни мрак
Светлей и чище снега.

Свободен я, а вам
Терпеть земные муки...
Спиноза и Хайям
Ведут меня под руки.

VI



Глава 1

Помимо психбольницы профессора Грызунова, Новобурбонск знаменит своими музеями. При медицинском институте есть единственный в мире Музей истории и классификации половых извращений, располагающий огромной коллекцией картин, фотографий и восковых фигур. На центральной площади высится монументальное здание Военно-морского музея, украшенное изображениями сирен, якорей и фрегатов. Существование этого музея всегда казалось мне несколько странным, так как в Новобурбонске иной воды, кроме поганой речки Бурбонки, никогда не было, разве что в Кембрийский период. Есть также прекрасная картинная галерея, обладающая редчайшим собранием картин, о которых думали, что это Гоген, а оказалось, что написал их один еврей по фамилии Мандельцвейг, погибший в 1938 году при недостаточно выясненных обстоятельствах. Но самый знаменитый музей Новобурбонска — Палеонтологический. Его громадное суровое здание, облицованное серым гранитом, стоит посреди обширного общественного парка, посаженного ещё при Петре Втором. К зданию примыкает пруд, в котором новобурбонцы купаются и тонут в большом количестве. По ночам в чёрной воде пруда отражается золотой квадратик окна под самой крышей музея. Сейчас там живет охранник, злобный отставной старшина с трёхлинейной винтовкой. А раньше эту комнату занимал Пахом Альбертович

Мезозуев, великий палеонтолог, создатель основной экспозиции музея и человек чуткой, любвеобильной души.

Глава 2

Я впервые увидел его в главном зале музея. Неяркое закатное солнце пронизывало скелеты мезозойских животных и наполняло зал бликами витринных стёкол. За огромными окнами колыхался красно-золотой осенний парк, и новобурбонцы разъезжали по тихому пруду на лодках, играя на гитарах и гармошках. Скелеты были чистенькие, на сверкающих медных проволочках и настолько целые, что напоминали скелеты собак, кошек или иных современных животных. По стенам тянулись прекрасные фрески, изображающие вымершую на Земле фантастическую жизнь. А у подножия гигантского скелета плезиозавра копошился маленький пузатый человек в синем халате с засученными рукавами. В зале было пусто, никто ему не мешал, и он увлечённо монтировал хвост плезиозавра, утробно напевая один из хоралов Баха. У него была коническая голова, длинный тупоконечный нос и уши с раструбом. Глаза были голубые, маленькие и добрые, как у слона, а безобразно большой рот имел улыбчивую и мечтательную складку. Я никогда не видел его фотографий, но сразу понял, что это он сам и есть. Он взглянул на меня, оторвавшись от плезиозавра, и тотчас нас соединила некая связь, мистическим образом возникающая между духовно близкими людьми. «Изви-

ните, вы мне не скажете, кто автор этих фресок?» — спросил я, сдерживая радостную улыбку. «А что, нравится? — сказал Мезозуев и самодовольно улыбнулся. — Это я сам мазал в свободное от работы время». «Это самая тонкая и глубокая анималистика из виденных мною», — сказал я от всего сердца. Мезозуев улыбнулся так широко, что нижняя часть лица оказалась как бы отрезанной от головы напрочь. «Это ещё не лучшее, что я сделал, — сказал он. — Приходите ко мне в гости, посмотрите. Вы, как я догадываюсь, приезжий? Из Москвы? Прекрасно, расскажете московские новости!»

Глава 3

Туманная, тихая, красно-золотая осень кончилась, и началась осень мерзкая, мокрая, воющая ветром в жутко-чёрных ночах. Командировка моя затягивалась, но я не жалел об этом. Я сошелся с врачом-стоматологом, женщиной весьма передовых взглядов и с красивыми бёдрами. Денег у меня было много, и то, что оставалось от подарков моей возлюбленной, я энергично пропивал вместе с Пахомом Альбертовичем. Известно, что собутельники подбираются так же, как и любовные пары — по темпераменту. Нет ничего тяжелее, чем когда находишься в состоянии самой сладкой эйфории, тебе хочется игривости, песен и задумчивых разговоров, а твой напарник бормочет ахиною, расплёскивает вино и ползёт блевать в туалет. Выпивка с хорошим собутельником сладостна, как гармоничный половой акт. Мы с Мезозуевым были буквально созданы друг для друга.

Мезозуев жил один в своей комнатке под крышей музея. Его покойная жена была опереточной дивой, полюбившей безобразного палеонтолога за доброту души и чудовищную мужскую силу. А сын, танковый офицер, служил в Ленинградском гарнизоне. Он редко навещал отца и совсем не интересовался палеонтологией. У этого негодяя было двое внебрачных детей, и Мезозуев никогда не видел своих внуков, о чём сильно сокрушался. Кроме меня, его одиночество скрашивали жившие с ним мелкие звери — от черепахи до летучей собаки, которую он собственноручно поймал сетью на острове Ява. По ночам она летала по гулкому пустому музею и хватала колбасу с вилки. Стены комнаты были увешаны изображениями ископаемых зверей всех эпох, написанными с отеческой любовью. На секрете мрачно улыбался каменный череп с острова Пасхи, а в углу у окна поблескивали ассагаи, при взгляде на которые ощущался металлический холод внутри живота. Пахло табачным дымом, вином, скипидаром, тропическим лесом и испражнениями маленьких сожителей Мезозуева. Они лезли и шуршали в кучах мусора, которые Мезозуев, по привычке многих одиноких мужчин, не выбрасывал, а отодвигал в углы. Пьянствовали мы больше по ночам, в полумраке, под барабанную дробь дождя по чёрным окнам. Время останавливалось и крутилось в обратную сторону. Рёв одинокого грузовика воспринимался как голос голодного тиранозавра в мокрых мезозойских дебрях. Стены таяли, и я видел поляну, усыпанную ядовито-яркими цветами, и идущего по ней эдарозавра, качающийся вырезной гребень которого придавал ему

готическую торжественность. Холодный синий океан грохотал прибоем о сверкающие граниты, и из его зыбей высовывались медленные шеи плезиозавров.

Рассказывая о том, как в отложениях реки Бурбонки был найден особый вид страходонта, Мезозуев непроизвольно тарашил глаза и вытягивал губы, и на его плечах вдруг возникала пятнистая длинная голова ящера. Жуткая радость разрыва с реальным миром пронизывала и соединяла нас, пьяных и охрипших от пения песен. Лязгали, расплескиваясь, огнистые бокалы, и летучая собака кружила над нами, как птерадон.

Глава 4

Однажды я пришёл к Мезозуеву поздно вечером. Может быть, было и не так поздно, но тьма стояла непроглядная, и ветер выл, как жертва гестапо, и лужи кипели от крупного дождя. Мезозуев встретил меня преувеличенно радостным восклицанием. Я подумал, что он уже подвыпил до моего прихода, но бутылки на столе не было. «Пойдёмте, мой милый! — закричал Мезозуев и схватил меня за рукав. — Ставьте бутылку на стол и пойдёмте в музей. Я вам покажу нечто такое, что вы упадете без чувств. Это огромная удача! — кричал он, скатываясь впереди меня по тёмной лестнице. Мы вошли в музей. Нет зрелища более жуткого, чем огромный зал палеонтологического музея тёмной осенней ночью, освещённый маленькой лампочкой. Морды ископаемых гадов, высовывавшиеся из тьмы, были полны неизъяснимо зловещего выражения. Сквозные тени скелетов лежали на потолке и стенах. Стёкла мертвенно отсве-

чивали, а смутно освещённые фрески Мезозуева приобрели необыкновенную стереоскопичность и прямо спрыгивали со стен. Мы гулко прошли по плитам пола и остановились у витрины, ранее пустовавшей. Там стояла под стеклом огромная окаменевшая кость.

— Ну, как? — спросил Мезозуев, разочарованный моим молчанием.

— Это, кажется, бедро? — сказал я.

— Да, левое бедро! Бедро тиранозавра гигантского, неизвестного науке вида! Вы представляете себе — пришли ко мне в среду два подвыпивших горожанина и сказали, что из обрыва торчит кость. Чудовищная, фантастическая, небывалая удача! Кончив эту тираду, Мезозуев стал прохаживаться перед витриной, потирая руки, сюсюкая и пританцовывая.

Я поёжился. В музее было холодно, как в морге. Ветер с дождём хлестал по чёрным окнам, будто хотел выбить стекла и добраться до нас с Мезозуевым.

— Пойдемте пить, Пахом Альбертович! — сказал я.

— Пойдемте, пойдемте, голубчик, выпьем за небывалую удачу!

Мы выпили, и Мезозуев с торжественной дрожью в голосе объявил мне о начале необычайного научного эксперимента.

— Я вот уже две ночи хожу в музей, сажусь перед бедром тиранозавра и сосредотачиваю на нём свою волю. Мне кажется, что таким образом я могу увидеть его и реконструировать его внешний вид. Это будет переворот в палеонтологии! — сказал он, и глаза его стали втрое больше и засветились,

как гнилушки. — Выпьем за торжество человеческого воображения, пробивающего ночь времени и бездну пространства!

...Белая горячка или гениальная идея?..— думал я, шагая по лужам, подгоняемый в спину обнаглевшим дождём. Я чувствовал себя не вправе прервать работу Мезозуева путём вызова психиатра. И я не сделал этого.

Глава 5

— Я видел его! — крикнул Мезозуев, когда я пришёл к нему через неделю. Услышав мои шаги, он отворил дверь и был виден на фоне освещённого прямоугольника как угольно-чёрная игрушка со вскинутыми руками. Эхо его крика скатилось по лестнице в музей и потерялось среди скелетов. — Сначала я увидел, как бедро оплетают сухожилия и мускулы, — вопил Мезозуев, таща меня к столу за рукав. — Потом оно обросло пупырчатой кожей. Потом стали вырисовываться бледные контуры всего животного. И вот вчера ночью я увидел его и даже потрогал. Его кожа была холодна и шершава! Он поводил передними лапами и раскрывал пасть, как бы разминая её! Голос Мезозуева зазвенел как трензель. Он бросился к приёмнику, поставил пластинку, и вслед за хриплым шипением дико загремела наурская лезгинка. Звери в панике заметались по комнатушке. Схватив пустую пивную бутылку и размахивая ею как кинжалом Мезозуев стал танцевать вокруг стола. Раскинув руки, он упал передо мной на одно колено, приглашая на танец. Я схватил с вешалки пальто и выбежал вон. — Я счастлив! — крикнул мне вслед Мезозуев, не прекращая танца.

Глава 6

Дежурный психиатр посмотрел на меня недоверчиво и с явным намерением напустить на меня санитаров. Дюжие и мрачные как штурмовики они стояли в дверях кабинета и прикидывали, долго ли со мной придется возиться.

Дежурный психиатр, румяный молодой человек, читал Фрейда, когда я вбежал в его кабинет, мокрый и взъерошенный. Кабинет был чист, пустынен и гулок. Несмотря на глубокую ночь, в углу возились два смиренных шизофреника. На столе перед ними был прикноплен большой лист ватмана. Это было накануне шестидесятилетнего юбилея психбольницы профессора Грызунова, и шизофреники заканчивали красочную юбилейную стенгазету «Грызуновец». С огромным напряжением воли я убедил молодого психиатра в том, что сумасшедший не я, а тот, насчет которого я прибежал. Он закрыл Фрейда, сунул в карман пистолет и вскоре яркозелёная «Волга» вонзилась в жидкое месиво из грязи, дождя, ветра и беспросветного мрака.

Мезозуева в каморке не было. Толстый манул сидел на столе среди поваленных бутылок и жрал котлеты с тарелки. Ёж бегал среди консервных банок, бумажек, осколков стекла и прочего мусора.

— Пахом Альбертович! — крикнул я. — Он в музее, — сказал я шёпотом, когда затихло эхо. Там было темно, и окна были едва заметны в густоте мрака. Я не знал, где выключатель, и один санитар побежал за фонарём к машине. Пока он бегал, мы стояли неподвижно, как бы ожидая нападения, и слушали азиатские ритмы дождя по стёклам.

Наконец, оглушительно топая, прибежал санитар с фонарём и щёлкнул кнопкой. Сначала в круг света попала жирная струя крови на шерботой каменной плите. Потом — безголовый, лежащий навзничь коротенький труп Пахома Альбертовича. И наконец — горделиво стоящая в витрине, каменно-блестящая, ноздреватая и корявая, грозная и молчаливая кость.

Чудесный старец

Я сам не видел этого, но люди говорят, что было это так: в пивную, дымную и шумную, полную беспорядочного движения и бестолковых эмоций, вошёл старец с ясными голубыми глазами и белой, как лебяжий пух, бородой. Он прислушался к разговору двух пьяниц, которым не хватало на сто пятьдесят грамм, и поманил их чистым сухим перстом.

И когда пьяницы подошли к нему, он вынул из кармана поллитровую бутылку и налил им по стакану. Вскоре протянулась третья рука, робкая красная рука со стаканом.

И третий стакан наполнил старец. И тут все увидели, что бутылка снова полна!

В благоговейном молчании пьяницы сгрудились вокруг старца, протягивая посуду.

Но старец поманил их за собой, повёл в ближайший парк и там, в тени от раковины летней эстрады, стал угощать их водкой из своей чудесной бутылки.

Вскоре пошел дождь, старцу пришлось уйти под навес закрытого киоска, но со всего района повалили пьяницы в парк.

И каждый получал вдоволь прозрачной, как хрусталь, холодной водки. В экстазе пьяницы падали к ногам старца и молитвенно воздевали руки, а он ясно улыбался и все оделял водкой новоприбывших. Уже оттаскивали за ноги упившихся, и по всему парку брели пьяницы, распевая песни и отстукивая чечётку под множество баянов и гармоний. И вдруг из аллеи в аллею понесся тревожный крик: «Милиция!» Румяные дюжие милиционеры резво выскочили из сине-красной машины, быстро разогнали толпу и подступились к старцу.

Но он не изменился в лице, даже не нахмурился, а только увернулся от милицейских рук и труском побежал по аллее.

Милиционеры устремились за ним, свистя и громыхая сапогами. Но старец все убыстрял и убыстрял бег.

Тогда милицейский начальник, бежавший впереди, с криком: «Стой, стрелять буду!» — выхватил из кобуры свой «ТТ».

И тотчас он упал в лужу, полную палых листьев, поражённый молнией, а у старца на спине выросли два белых лебединых крыла. Медленно и величаво воспарил он над голыми липами и светлой точкой исчез в чёрном дождливом небе.

Милицейский начальник остался жив, но получил нервный шок, сделавший его негодным к службе.

Был среди пьяниц, видевших чудесного старца, молодой человек, выгнанный за распутство из духовной семинарии, — так он утверждает, что это был сам святой Павел.

Романы и басни

Великая Крыса

— Придёт, придёт Великая Крыса! — кричал седенький старичок, став на скамейку в парке. — Она придёт с Запада, за ней — легионы обыкновенных, и они всё сожрут! Тут нивесть откуда набежала милиция, схватила старичка за шиворот и уволокла. Толпа мрачно заурчала и разошлась. Нежно-золотые листья летали над скамейкой с отпечатками грязных галош.

Слепой

В шумнобегущей толпе я встретил слепого. Он шёл торжественно, с неподвижным лицом, и ударил меня по ногам палкой.

Грибники

— Белый! — крикнул я.
— Везёт тебе сегодня, сволочь, — сказал Никифор.
Я полез в еловую гущу, где виднелся боровик. Я расцарапал себе морду, весь промок и испачкался, — а гриб-то оказался гнилой.

Путники

В поле, освистанном метелью, повстречались два путника — голый и одетый в овчинную доху поверх пальто.
— Замерзаю — крикнул голый. Поделись одежкой, брат!
— Не могу, ответил одетый. — У меня наморк. Бежи шибче, и согреешься!

Кавалерист

«Прощай, моя милая! Я пронесу тебя в себе, как луч света».
И он ушёл, печально звякнув шпорами. Когда он пришёл, он уже не мог звякнуть шпорами.
Война откусила ему ногу.

Осенняя дорога

По слякотной дороге, по ухабам, в дожде и ветре несётся грузовик.
Медленно разворачивается горизонт, тучи нагнетают силу, чёрные деревья машут суцьями вслед грузовику и вряд ли скоро крикнет мне шофёр из кабины: «Вылезай, приехали!»

Жена

Три года я не видел его, и вот я встречаю его у кинотеатра «Метрополь». В зыбком неоновом свете я вижу, что он ведёт за руку существо громадного роста, с телосложением гориллы и лицом жабы...
— Боже мой, что это за чудовище? — спрашиваю я.
— Это — моя жена! — отвечает он горделиво.

Жалость

Я жалею солдат — по снегу и слякоти идут они, мёрзнут в окопах и моют на кухне громадные полы.
Я жалею космонавтов — их убило неведомое излучение, и их мёртвые корабли бессмысленно углубляются в сверкающую бездну.
Я жалею несчастливо любящих — их сон

зыбок, и в троллейбусе они вздрагивают от почудившегося запаха волос любимой. Я жалею бездомных кошек — в их шерсти струпья, и нечего им жрать в морозную, метельную ночь. Но ещё больше я жалею самого себя.

Встреча на улице Горького

Он был в пальто крокодиловой кожи, и на боку его висел меч. Он шёл в толпе, как кит в косяке сельдей, но толпа не замечала его. Он пожал мне руку, и глаза его вспыхнули изумрудным огнём.

— Крепись, брат! — сказал он мне. — Скоро!
— Хорошо! — ответил я. — Я креплюсь, я жду, я вижу по ночам светлые сны!
— Прощай! — сказал он. — Я спешу!
— Прощай. Кланяйся Сонечке!

И пальто крокодиловой кожи ушло в толпу, траурно скрипя.

Плач

Я плачу о том, что не вернётся, и о том, чего не будет никогда. Я плачу о красноватых песках Марса, ступить на которые суждено не мне.

Макар

Я увидел мрачного, оборванного старика, гнавшего по косогору стадо телят, и подошёл к нему заплетающимися ногами.
— Как зовут тебя, дед? — спросил я его.
— Макар, — просипел старик. — Не догадываешься чтолича?
Мистический ужас объял меня.



Сторож замка

— Как же ты тут один, дед? Замок-то огромный.
— А кто сюда полезет? Ценного тут нетути ничего, всё археологи позабирали. Мыши тут летучие живут, совы опять же, змеи кое-где. Правда, призраков тут много, по ночам шляются по лестницам, а то и на стенах показываются. — Ну, да я привык. Ничего, работа у меня тихая, дай бог всякому старичку!

Ужас

За мной гналась бешеная собака, я горел в танке, меня едва не убили бандиты на окраине осенней ночью, но ни разу я не испытал такого ужаса, как в тот миг, когда подо мной рухнул унитаз.

Кот

Никто не знает, что такое дом.
А.Големба

Никто не знает, что такое кот.

Кот — он товарищ.

Он встречает тебя у парадного, когда ты возвращаешься ночью, пьяный и измученный, он кричит и вбегает вместе с тобой в тёмную комнату.

Сидя на письменном столе, он понимающе глядит на тебя бесстрастными зелёными глазами, похожими на плоские линзы.

Он приходит на рассвете, овеванный тайной ночи, полной приключений, с царапиной на носу, и сворачивается у тебя под боком. Его мурлыканье, затихающее по мере того, как он засыпает, — это песенка уюта, который тебе так нужен.

Лес динозавров

Лес, в котором бродят динозавры, лес, покрытый жгуче-синим небом.

Тропинки динозавров.

Бессмысленные лица медлительных чудовищ, попирающих буйноцветущую траву. Трицератопс входит в воду, как стаскиваемая с песка лодка.

А знаете вы, где находится этот лес? В Подрезкове. Да, да. Как с платформы сойдёте,

так направо, по дорожке. Но не забывайте о том, что там водятся и тиранозавры!

Жираф

Ты плачешь? Послушай —
у озера Чад
Изысканный бродит жираф.
Н.С.Гумилев

И вот он передо мной — немыслимое порождение африканских просторов. Он похож на зайца и индрикотерия. Окраска его подобна потрескавшемуся слою тёмной охры на белом холсте. Движения его величавы. У него нежная голова с очень мягким храпом и могучие плечи. И ещё на лебедя он похож.

Перо

На асфальте лежало длинное белое перо, прохожие топтали его ногами, и никто, никто не подумал, что это, может быть, перо ангела.

Афродита

— Ух ты! — сказал молодой янычар старому. — Смотри, Асым, — голая баба!
— Ну и что? — отозвался старик. — Не видал никогда, что ли, ишачья твоя голова? Но молодой потрогал статую очень грязными руками, а потом устыдился, взял булаву и отколот ей руки, ноги и голову.

Кошмарный гость

Брюков явился ко мне поздно вечером, весь облепленный снегом.

Я не очень-то обрадовался этому визиту, но решил, что надо бы напоить его чаем. Когда через пять минут я вернулся с кухни, то увидел, что Брюков выпил всю воду из аквариума, а рыбок сожрал.

Дракон и рыцарь

Зловещая огненная луна вышла из-за скалы, похожей на колокольню. Ущелье тускло озарилось. На отвесной стене чернел вход в пещеру, где жил дракон. Уступы под входом были усыпаны человеческими костями.

Рыцарь спешился, отдал коня оруженосцу, отстегнул шпоры и пошёл к пещере. У самого входа он обнажил меч и исчез во мраке.

Но не подумайте, что рыцарь был трус и испугался честного боя с драконом. Это был отменно храбрый рыцарь. Он кастрировал дракона, потому что таков был обет, данный им богу и даме сердца.

Весёлый человек

В этот вечер ему было страшно весело. Он шёл и пел.

Он пошёл через речку, и чёрная вода прогибалась под ним, как доски.

Он выстрелил из пистолета в луну, и раздался медный звон, и снизу откололся кусочек.

Когда его ноги в тяжёлых сапогах устали идти, он лёг животом на воздух и полетел над вершинами берёз.

Дома его ждали горячий ужин и холодная бутылка вина, и жену, встретившую его на пороге, он крепко поцеловал в губы.

Семейный совет

Всем известно, что в семье — не без уroda. Вчера у нас был семейный совет, выясняли, кто урод, и вышло, что урод — дядя Кеша.

Нормырзай

У Нормырзая была тяжёлая рука. Он всегда выходил из боя забрызганный чужой кровью от шлема до сапог. Меч у него был прямой и длинный, а купил он его у арабского купца за восемь чернобурых лисьих шкур.

Когда Нормырзай узнал, что его любимая жена Юлдуз изменила ему, он ударил её по пробору на голове и разрубил до пояса. Потом он поймал в степи своего соперника, сшибся с ним и отсёк ему голову. После этого он две недели не пел, не играл в копкари, и, как говорят, даже плакал. А потом он снова повеселел и наточил меч.

Нормырзай был настоящий батыр.

Диковинная роза

Было необыкновенно радостное, слегка туманное, росистое утро, когда в саду распустилась роза диковинной красоты.

При виде её изумленно зашептались тёмные липы, а все прочие розы совсем стухли и померкли рядом с ней.

Если бы в это сияющее утро мимо розового куста прошла влюбленная пара, то было бы вот что: девушка ахнула бы, сорвала бы ро-

зу и подарила своему возлюбленному, а он поцеловал бы её лепестки и укрепил у себя в петлице.

А если бы он был ещё и поэт, то он написал бы, выпавшись, такое стихотворение! Но некто другой прошел в то утро мимо диковинного куста.

Это был старый думной козёл с грязными розовыми семенниками. Это сволочное животное обитало в соседней конюшне и знало лазейку в сад.

— Ишь, какая! — подумал козёл. — Должно быть, вкусная. Кончив думать, он вытянул шею и сожрал прекрасный цветок, омытый росой.

Честный человек

Я — сын вора, отец вора, брат вора, муж воровки, зять вора и шурин вора. Но сам я — честный человек!

В коммунальной квартире

Моим соседям —

А.М. и Ш.Л. Мижеричер

Я сидел у стола и делал срочную работу для редакции, когда ко мне вошёл соседский мальчик Мишенька, заскучавший без родителей.

— Можно я у тебя посижу? — спросил мальчик. — Я буду тихо. Дай мне книжку про зверей.

Я дал ему книжку и опять сел к столу.

Но Мишенька был неспособен вести себя тихо. Через некоторое время он изгадил книжку про зверей типографской краской, разбил хрустальную вазу и выколол моему коту правый глаз.

Я вышвырнул Мишеньку в коридор, но он не уgomонился, и с воплями кидал в закрытую дверь какие-то предметы. Тогда я поймал Мишеньку в тёмном коридоре и пристукнул его латунным пестиком.

Смерть

Если бы смерть в русском языке была мужского рода, а я был женщиной, я сказал бы так: — Я боюсь отдаться тебе, но знаю, что ты всё равно придёшь и возьмёшь, и от этого мне спокойно и сладостно.

Память

Во мне живет жуткая память всех войн человечества.

Когда один питекантроп треснул другого по черепу камнем, этот удар моё сердце отразило, как гонг.

И с тех пор каждая стрела, застрявшая в человеческих лёгких, каждый свист залитой кровью сабли, каждая пуля и каждый осколок, растерзавшие ткани, прикрытые дрянным сукном, — были предназначены мне.

Культтовары

Вот — магазин «Культтовары».

Здесь продаются предметы культа: кадильницы, иконы, семисвечники, талесы, бурханы, шаманские бубны и т.п.

VII

Чёрное и белое

Жизнеописание Владимира Ковенацкого, художника и поэта XX века, составленное им самим в строгом соответствии с истиной.

Мы, дети трудных лет России...
А. Блок

Эта книга — только начало. Я написал её потому, что боялся, как бы не поблекли и не потеряли своего тяжёлого аромата воспоминания детства, отрочества и юности.

Глава 1. Розовое детство

Лет в 17 я решил написать о себе автобиографическую поэму, которая, впрочем, оборвалась на одном стихотворении.

Украина. Город Харьков.
Неба синева ясна.
Блёстки луж в аллеях парков.
Март. Тридцатое. Весна.

Может быть, этот день был по-весеннему пасмурным и туманным. Но, так или иначе, 30 марта 1938 года я осчастливил человечество своим появлением на свет. В нежном детстве я был толст, кудряв, весел и любил слушать книжки про зверей. Зная мою слабость к хорошим концам, мои пестуны обычно поворачивали дело так, что лев не умер, застреленный охотником, а только слегка ранен и на другой день выздоровел. У меня был большой розовый грузовик, который так ярко пламенел в лучах утреннего солнца! Дед водил меня за



ручку в кондитерскую напротив и кормил шоколадом. Как все маленькие дети, я не хотел признавать ничего мрачного. А между тем мир был им полон. Перехода от мира к войне я не запомнил. На Харьков посыпались бомбы. В память врезалось видимое из подворотни ночное небо, исполосованное лучами прожекторов, и в их скрещении — крошечный чёр-

ный самолетик. Дед заворачивал меня в белую заячью шубку и нёс в подвал. Там, наверное, было темно и страшно, но этого я не помню. Потом началась эвакуация. Замелькали грязные дороги, ночевки в избах, холод, неуют и скука. Я слышал выражение: «Харьков висит на волоске», и недоумевал: «Как же это так?»

Отца с нами не было. Он остался на своём авторемонтном заводе, где во время войны стал главным инженером. Перед самой сдачей Харькова ему и тем, кто с ним работал, разрешили выехать из растерзанного города. Отцу было поручено привести завод в негодность.

Отец тогда был молодой, красивый, спортивный еврей. Он шёл по пустому заводу с куском мела в руке и ставил кресты на важнейших частях станков. Следом шёл дюжий хохол с кувалдой и бил по крестам. Так прошли они по всему заводу, сопровождаемые эхом своих шагов, грохотом и звоном.

Потом работники завода получили трёхлинейки с подсумками, сели в грузовики, и началась эпическая поездка в тыл по слякотным осенним дорогам. Юнкеры налетали среди белого дня и расстреливали колонну из пулемётов. Люди выскакивали из машин и падали ничком в мокрый чернозём. Потом кто вставал, а кто и нет. «Очередь вот так прошла от моей головы», рассказывал отец, показывая пальцами десять сантиметров. «Пш, пш, пш, пш. Пули горячие».

Отец настиг нас в селении с мерзким названием Чегонак. Потом мы жили в каком-то Аркадаке, где отец работал на маслозаводе и таскал домой семечки. Однажды он

получил повестку в военкомат и уже затосковал, но ему дали бронь. Потом нас занесло в Пермь, то бишь Молотов.

Глава 2. Пермский период

Воспоминание о Перми у меня окрашено в свинцовые тона. Серый цвет — это цвет булыжника, которым были устланы улицы города, кроме главной — улицы Ленина. На этой улице однажды переехало трамваем козла, и в милицейском протоколе, в графе «фамилия пострадавшего», было поставлено: «Козёл». Это цвет грязного снега и ледяного зимнего неба. Это цвет затёрханных одежд обывателей — кацавеек, ватников и польт, переделанных из солдатских шинелей.

Город был наводнён ворьём. На ночь наш дом превращался в крепость. В парадном стоял на часах жилец с винтовкой, может быть и с мелкокалиберкой, сейчас не помню.

Леса под Пермью кишели дезертирами. Эти отбросы Красной Армии, бежавшие с фронта в полном вооружении, жили охотой и грабежом. Свои землянки в лесу они искусно маскировали, отводя дым в ствол далёкого дерева.

Мой отец поступил на работу в автоинспекцию, где получил пистолет ТТ и трёхлинейку, которая стояла у нас в углу. Когда устраивалась облава на дезертиров, папаша начальствовал над шофёрами автоколонны. Облава, по его рассказам, выглядела примерно так.

Из грузовиков выскакивали милиционеры и солдаты и начинали прочёсывать лес. Шофёры, с отцом во главе, залезали под автомобили, потому, что вскоре раздавалась яростная стрельба и над грузовиками свистели пули, вылетающие из лесу. Бой в лесу шёл с применением всех штатных средств пехоты. Дезертиры дрались, как герои Брестской крепости, потому что им всё равно был уготован расстрел. По окончании боя шофёры развозили по домам убитых милиционеров.

Атмосфера глубокого тыла была насыщена войной. По бульжнику шагала рота женщин в солдатской форме, в ушанках. Они выкрикивали песню:

До Берлина
Мы дорвёмся
С нашей песней боевой!

У моих соседей, братьев Глебки и Лёвки, был немецкий шлем, который они украли с платформы на путях. Как они рассказывали, касок там было бесчисленное множество, их отправляли на переплавку. Шлем был тяжёлый, внушительный, с белым печатным орлом на левом боку, и мне казалось, что его кожаная подкладка ещё пахнет солдатским потом. Я не раз красовался в этом шлеме, и думаю иногда, что этот шлем неведомого немца, убитого или взятого в плен, подействовал на меня магически и навсегда поразил тягой к военной теме. У нас детском саду был один мальчик, Вадим Висковатов. Это был очень злобный и лживый мальчик. Меня он всё время пугал своим папой, который служит в НКВД и может со всяким сделать, что угодно.

При этом он придумывал самые ужасные кары, к каким якобы прибегает НКВД. Однажды Вадим пришел в детский сад грустный и заплаканный. Оказалось, что злоеший папа Вадима попал на фронт, и там его хлопнули. Весь детсад утешал Вадима, по указке воспитательниц мы пели для него воинственные песни, а я радовался, так как уже ничто больше не грозило мне и моим близким.

С фронта возвращались одетые в серое сукно полулюди. Однажды три пьяных слепца ворвались в здание табачной фабрики и стали требовать папирос. После вежливого отказа они начали громить канцелярию, кидая куда попало арифмометры и пишущие машинки. Отец, проходивший мимо, услышал грохот погрома, вынул пистолет и побежал узнавать, в чём дело. Он увидел страшную картину разрушения. Слепцы с воем и рычанием вымещали на тыловиках фронтовую злость. Мимо пробежал служащий, у которого на полоске кожи болтался откушенный палец. Отец вызвал по телефону милицейский наряд, который переловил слепцов поясными ремнями. Наряд подоспел вовремя, потому что один из слепцов, у которого чуть-чуть брезжило, разглядел на отце золотые пуговицы и кинулся его душить.

В это фантастическое время я начал жить творческой жизнью. Моим первым персонажем был, конечно, солдат. Я до сих пор помню крайне условный шаблон, к которому я тогда прибегал. Причем на руках оказывалось обычно шесть пальцев.

Я начал рисовать цветными карандашами картинки и диктовать бабке наивнейшие сказки собственного сочинения, где фигу-

рировали муравьи и прочие насекомые, а потом и звери. Сюжеты моих детских картинок были исключительно сказочные или воинственные. Пермская действительность меня как художника не интересовала. На листах скверной жёлтой бумаги передо мной возникал уютный, чудесный мир, играющий грубыми колерами цветных карандашей. Став постарше и потеряв детскую наивность, я долго томился по этому миру, и, думается мне, что наиболее полную радость творчества я испытал в пятилетнем возрасте.

Глава 3. Лихобория

Если пермские воспоминания окрашены серым, то лихоборские более контрастны. Это чёрное и жёлтое. Чёрное ночное небо, паровозы, ущелья из вагонов, громады «жилдомов» над чёрными крышами покосившихся бараков, — и жёлтые огни, то тусклые и засиженные мухами, то яркие, как солнце в космосе, горящие над адской панорамой большой товарной станции. Серый цвет имеет некоторую интимность и задушевность, чёрное с жёлтым — цвет змеи, цвет гниющей язвы.

В бараке №2 была наша комнатёнка, а в комнатёнке труба от буржуйки, и из трубы капала невыносимо вонючая чёрная жижа. Нужник, ледяной зимой и жужжащий мухами летом, был довольно далеко. Один дед, который всё никак не умирал в течение всего лихоборского периода, оставил там на полу экскремент в виде удивительно правильной капли с острым концом. В семь лет я читал «Евгения Онегина», Кнута Гамсуна и какие-то дореволюцион-

ные журналы. Конечно, понимал я мало что, но относился к непонятным местам как к магическим и по-особому, с жутью их смаковал.

Часто болел, так как меня кутали и вообще воспитывали крайне безалаберно и нелепо. Запомнился один приятный вечер, когда у нас были гости, я встал в постельке, совсем слабый после болезни, а на стене висела красиво-коричневая картинка Билибина, волновавшая своей непонятной стилизацией.

9 мая я выполз на улицу после болезни. Первый день мира был ясен и синь, я ел орехи, чрезвычайно вкусные и твёрдые, сидя на лестнице, прислонённой к стене барака, и ликовал, как и весь советский народ.

Писал я в этот период сказки, вернее диктовал. Они были навеяны «Маугли», действовали в них волки, медведи и другие животные. Это время было ещё ничего и сохраняло детски-магический взгляд на мир, сам по себе уже очень жуткий, если только бывает мир сам по себе, в чём я сильно сомневаюсь.

Вскоре мы перебрались в так называемый «газогенераторный барак». Вот тут-то я увидел кузькину мать. В этом мрачном кирпичном строении с дырявой крышей, крытой толем, провёл я самое жуткое время моей жизни. Наше жильё состояло из двух комнат. В большой через потолок шла железная ферма. Соседка тётя Дуся Сарычева говорила, что на ней хорошо повеситься, и я часто вспоминал эти слова во время юношеских депрессий. В окне был

незабвенный индустриально-барачный ландшафт. На несколько минут в день заглядывало солнце, и лежало, как лист золотой бумаги на неровной фанерной стене. В стене был шлак, который сыпался из дыр, а за шлаком был кирпич.

Слышно было чрезвычайно хорошо через эти стены; Петровы подкладывали к стене своего младшенького, идиота Мишу, и он рычал будто у нас в комнате. Петровы были сволочи, а Сарычевы ничего. Я дружил с их детьми — маленьким Мишкой, который утонул пяти лет от роду, вырожденком Вовкой, который обкрадывал всю секцию и рано попал в колонию, с рассудительным Женькой, который выбился в инженеры, и с добродушной Зинкой, которая была предметом моих отроческих грёз и также выбилась в инженеры.

Ещё видна была в окне будка с черепами, где был наш сарай, у будки полая лестница из бетона, а внутри неё была тайна.

Серая от времени уборная обитаема была крысами. Тощие бродячие кошки рылись в помойном ящике. Мальчишки проделали дыру и смотрели на женщин, совершающих отправления.

В овраге был пруд, то есть лужа, а в луже водились невероятные насекомые. Вместе с рыжей Тонькой Суровой я ловил их и помещал в банку из-под американской колбасы, наблюдая, как они живут в мутной воде. Я устроил целый аквариум этих тварей в банке. Однажды я поймал совсем удивительную тварь — сейчас мне кажется, что это была личинка стрекозы. Я не мог на неё нарадоваться, но сосед Сашка, мрачный высоколобый кретин, задавил моих чудовищ кирпичом. Сделал

это Сашка из тупой злобности, свойственной всему семейству Петровых. Отец Сашки, Виктор Иванович Петров, названный мной «Королём Лихобор», был мужчина высокий, представительный, с очень высоким лбом, коротким носом и тяжелой челюстью. Был он сумасшедший, время от времени сидел в больнице, а вообще-то работал на заводе НАМИ. У Петровых, которые были не совсем русские, но мордва, были двое детей: мордас-тая, кроткая и тупая Любка, с которой мы перешёптывались через стенку, и озлобленный отцовскими побоями крикливый и вредный Сашка. К ним в гости было возможно ходить только до появления Мишки, с которым началась жуткая вонь и, как следствие несчастья, окончательное остервенение родителей. Собственно сволочь-то была тётя Варя, а дядя Витя был больше сумасшедший и самодур. Кроме этих ближайших, было ещё много народу, все рабочие. Впрочем, Гасенкины были сборщиками утиля. Собственно, Гасенкина была Нюрка, а фамилию Яшки никто не знал, как и того, откуда взялся этот рослый мрачный мужчина. Может быть, они встретились на пустырях за сбором металлолома и полюбили друг друга. У Нюрки были дети, Гришка и Лидка, но их забрали в детдом. Был ещё Нюркин отец, древний глухой дед, ходивший на костылях, а также замечательный своим умом кот. Кота звали Васька. Он пережил всех лихоборских кошек, избегнув и камней, и отравы, и беспощадных детских рук. Его человеческий взгляд исподлобья был грустен и осторожен. Его зеленовато-серая шерсть была испещрена шрамами и сле-

дами болезней. Я помню его таким старым, что он засыпал у меня на коленях, падал во сне и не успевал проснуться — шмякался плашмя на пол.

Дядя Яша Осташов всегда стоял во дворе — длинный, прямой, сунув руки в карманы и переминаясь с ноги на ногу. Он глядел туда, где в туманной дали проносились по насыпи электрички.

Я ходил по баракам в гости к друзьям и везде видел одно и то же: кружевные подзоры, кошек на комоды, рыночные коврики и фотографии в крашеных рамках. Город, центр, удобства, красивая мебель, потря-

сали меня, когда с родителями я попадал к каким-нибудь знакомым. Особенно восхищал меня пластмассовый лев на чернильном приборе у дяди Вити (брата матери). Когда я начинал мечтать о красивой жизни, то всегда, помимо дрессированных пантер, истребителя в личном пользовании и ежедневной свинины с зелёным горошком, мне являлся этот пластмассовый лев.

Самый близкий, ежедневно посещаемый мир моего детства состоял из соседских барачков, пруда, огородов и дороги в школу. За его пределами лежал мир заводов и лагерей. В лагерях были наши эки и плен-



ные всех национальностей. О наших я вспоминаю только колонну сутулых фигур с руками за спиной. А немцы зимой заходили к нам в тамбур греться. Они были бесконвойные, голодные и в форменных лохмотьях. Занимались они жалким рукоделем — делали картонных котов, у которых двигались глаза и языки, и колечки из медных и алюминиевых трубок, рисовали картинку с домиками, крытыми черепицей. Всё это они меняли на еду, бумагу и карандаши. У японцев не было рукоделья, зато были прекрасные толстые линзы, которые им служили вместо спичек в солнечную погоду. Японцы тоже были в своей форме — в обмотках и больших лохматых шапках с козырьком. Жить было весело и страшно. Днём была школа, блуждание по окрестностям, копание на свалках, военные действия против многочисленных врагов-мальчишек, как в одиночку, так и в компании, а вечером — книги, рисование и страшные рассказы об убийствах, ограблениях, о побегах заключённых. Этими рассказами жили все — и дети и взрослые. Я и сам мог кое-что рассказать. Однажды, например, я с каким-то мальчиком по дороге из школы заплутался в сером лабиринте сараев, барачков и уборных, и в одном безлюдном месте к нам подошёл молодой человек, державший руки так, что они были не видны за рукавами. Наверно, на нас были приличные пальтишки и ботинки. Я плохо помню, что было между нами и молодым человеком, но неслись мы от него в бесконечном ужасе. Повсюду ещё пахло войной. У пивных орали молодые инвалиды. А слева от барака, если перейти шоссе и углубиться в пусты-

ри, была странная свалка — самолётное кладбище. Охранял его ленивый солдат с винтовкой, мало обращавший внимание на нас, мальчишек. А мы играли в воздушный бой, сидя в кабинах настоящих «Спитфайеров» и «Хевилендов». Я хорошо помню знак американских ВВС на ободренных крыльях.

Наши детские драки были своеобразной игрой в войну. Сбиваясь в кучки, мы блуждали по пустырям, жарили в сумерках краденую картошку и заводили друг друга рассказами о жестокости и хитрости противника. Я помню тяжёлое, угнетающее сознание ненависти к маленьким фигуркам, которые надвигаются на нас из-за кустов и сараев и блаженное, бессознательное состояние разрядки, когда уже можно бить, кричать и не чувствовать ударов. Когда мне было лет 9, мать потащила меня на жюри выставки детского рисунка. Мордастый лысый дядя за столом заявил, что мои рисунки не отражают жизни. «Как будто книгу смотришь», — сказал он. В альбоме были нарисованы цветными карандашами мушкетёры, рыцари, героические бойцы Красной Армии и сказочные персонажи. А помимо всего прочего — вздыбленный ярко-жёлтый конь. «Ну почему конь жёлтый, разве так бывает?» — спрашивал мордастый и продолжал: «У тебя из окна что видно? — Химзавод. — Вот и нарисуй химзавод!». Мать ещё что-то выясняла, а я сидел со своими картинками в уголке, когда надо мной склонился длинный сутулый человек — лицо его расплылось в памяти — и сказал мне: «Не слушай их, мальчик. Очень хорошо, что конь жёлтый! Рисуй жёлтых коней!»

Моим миром №2 стала МСХШ — художественная школа при Суриковском институте. Я всегда, сколько себя помню, был вундеркиндом, всегда рисовал лучше всех, и доставлял массу удовольствия своим домашним. Я любил рисование, но любил так, как любил гулять, читать книги и копаться на свалках. Мне всегда было весело и интересно разводить на бумаге рыцарей, солдат, мушкетёров и бандитов. Не имея никаких образцов, я делал иногда удивительные по пластике вещи. Не было ни мучений, ни сомнений. Просто иногда какой-нибудь рыцарь или бандит переставал занимать мое воображение, и я бросал рисунок.

Убивание во мне художника началось в 11 лет. Преподаватели были чудовищные передвижники и соцреалисты, а защиты от них не было никакой, потому что мать благоговела перед ними, а книг с картинами у нас в доме не было. Тут я узнал, что такое рисование из-под палки, без любви и интереса. Только через много лет, после событий, потрясших меня до основания и давших возможность кое-что понять, я почувствовал возможность возвращения к этой чистой детской радости творчества. В мире № 2, который резко отличался от мира № 1, я узнал очень многое. Меня поселили в интернате, где процветали воровство, мордобой, гомосексуальность. Было такое выражение — «гений в стеклянных трусиках». Это была шутка, но многие были гениями всерьёз. Они ходили мрачные, не брились, если уже лезла щетина, слушали музыку, схватившись за лоб, и пионеры

на их композициях смотрели печально, как «Царевна Волхова» или «Сирень» Врубеля. Некоторые гении были одновременно и хулиганами. Их часто отправляли в сумасшедший дом, и, поэтому у нас был своеобразный культ сумасшествия, который поддерживался рассказами о великих художниках, кончивших в «сумдоме» свою жизнь. Были также всеми презираемые бездари. Они делились на два типа. Одни, будучи бездарными, всё же хорошо учились по другим предметам, веселились и плевали на всё, другие мучились от комплексов, и влачили жалкое существование. И над всем этим висел «свинцовый» секс. Коридоры были увешаны натуралистическими изображениями натурщиц, а напротив их стояли гипсы. У «Венеры в садах» каждое утро появлялись нарисованные волосы на лобке. Тётя Нюша стирала волосы, они появлялись снова, и в результате лобок был всегда тёмный и засаленный. Натурщицы бродили по коридору в халатах, равно как и оперные мужики в тулупах и отставные актёры, которых брали за характерность их бритых лиц. Все стены в клозете были расписаны обнажёнными фигурами — начиная от робкого символа первоклашки и кончая залихватским росчерком выпускника. Рядом с безумным интересом к натурщицам, и вообще к этой стороне жизни, имел место культ влюблённости. Хорошеньких девочек было мало, поэтому по одному существу с кружевным воротничком сохла целая партия. Об интернатских гениях надо ещё добавить, что они всегда были голодны. Эти несчаст-

тные, собранные со всех концов страны, обворовывались директором, Н.А.Карренбергом. Я тоже был голоден, но всё-таки у меня были родители и мать иногда привозила на неделе чего-нибудь вкусного. Может быть, и гениальность процветала в интернате именно с голодухи.

Напротив была Третьяковка, куда у нас всегда был бесплатный вход. Там мы бродили часами, заглушая вечерний голод, туда убегали с уроков, там мечтали о любви и славе, воображая на стенах свои будущие картины. Там укреплялся в нас критический и социалистический реализм. Иногда преподаватель даже отправлял нас с урока посмотреть какой-нибудь мазок на носу репинского портрета.

Кроме деления на гениев, просто способных и бездарей, было ещё классовое неравенство. Дети художников и значительных лиц были элитой, и держались особняком. По мере учения я всё больше стыдился своего мира №1, и всего, что было с ним связано. А устыдившись своего детства, я стал терять самого себя.

История первой любви

Моя первая любовь была, естественно, неразделённой. Моя Беатриче была отличница, и к тому же общепризнанная школьная красавица. Особенно популярен был её зад, действительно безупречный по форме. Я же был толстяк, и по многим предметам двоечник. То обстоятельство, что она была старше на класс, делало пропасть совершен-

но непреодолимой. Почему-то все считали её душой, хотя я бы сказал, что она была простодушна и не слишком культурна. Однажды на большой перемене в буфете была страшная давка, и моя любовь стояла сзади меня. Я помню её руку, украшенную кружавчиком школьной формы, и державшую смятую дореформенную пятёрку. Бедняжку так притиснуло ко мне, что на моей спине, похолодевшей от сладкого ужаса, отпечатались её грудь. Можно представить себе, насколько внимателен я был во время следующего урока.

Свою однообразную, богатую только мечтами жизнь в описываемый период я скрашивал любовью к лошадям и общением с жокеями, конюхами и кавалеристами — тогда ещё существовал такой род войск. Эти грубые, непрерывно матерящиеся люди были добродушны и неизменно приветливы ко мне. Я рисовал лучших лошадей в СССР, и в штабе кавалерийской школы играл шашкой дежурного офицера. И вот однажды в классе рисунка я увидел странную выставку. Может быть, там было и ещё что-нибудь, но я помню только эти, потрясшие меня рисунки. Сделанные «ретушью», в четвертушку листа, они изображали спокойно стоящих верховых лошадей. Рисунки были приличные, во всяком случае, очень тщательно и любовно сделанные. Боже мой, это были её рисунки! Тут я увидел перст судьбы и окончательно очумел. Потом мы с ней вместе учились в институте, и я делал для неё курсовую работу по линогравюре. Мы уже были друзьями, только я по-прежнему был влюблён, как сибирский кот. Я очень мучился от этого, мои мучения плохо помню, и вроде бы не

верю в них. В самом деле, какие могут быть мучения, когда на перемене можно зайти в аудиторию и поболтать со своим кумиром! А как прекрасна была прогулка по зимнему Голицыну! На ней было синее с серым мехом пальто, дававшее чудесный силуэт на фоне снега. Мы накупили холодных пирожков с мясом и ели их на ходу, беседуя.

В общем, я ей обязан множеством чудесных переживаний. Мои редкие, но неизбежные взрывки она выносила с удивительной кротостью.

Потом её розовая, снегурочкина красота стала меркнуть. Стало угасать и моё чувство. Начиналась совсем другая, безлюбовная неуютная жизнь. Я начал своё многолетнее странствие по компаниям огромного города.

Но когда она мне снится, я люблю её до сих пор.

О лошадях и людях

Да, чего-чего, а лошадей я повидал на своём веку!

Первый раз я увидел Будынка на фотографии в «Книге о лошади» под редакцией Будённого. Красавец-жеребец гордо поглядывал на фотографа. Передние ноги были с небольшим козлинцом, но это только придавало ему изящества. Это была лошадь в прекрасной форме, в зените своих возможностей. Потом я видел его в опытной конюшне ТСХА. По деннику бродил глубокий старик — ему было уже тридцать

лет. Он был слепой, с провалившимися висками, и от старческого озноба он был одет в попонку.

И, наконец, в музее коневодства я видел его скелет.

У рекордиста Жеста был и денник попросторнее, и попона со звездой, как будто он понимал, что он рекордист.

Он был конь как конь, разговаривать не умел.

В конюшне ТСХА были лошади многих пород и даже мул по имени Борис. Среди этих тяжеловесов, рысаков и верховых лошадей были два чудовища.

Попробуйте представить себе лошадь, чья голова находится на уровне вашего пояса, причем тело у неё нормальной длины, а ноги, как у таксы, кривые и с размётом. Таковы были отец и сын, Лапоть I и Лапоть II. Они появились на свет в результате опыта скрещивания пожилых лошадей, и назывались они старорожденными.

Порода их была помесь орловского рысака и брабансона, масть — гнедая, а о характере одного из них, а именно Лаптя I, я сейчас расскажу.

Как-то я рисовал в конюшне, а конюхи и сотрудники все куда-то разбрелись.

Тут какой-то мужик начал изумляться при виде Лаптя I, стоявшего в деннике, точнее говоря в стойле, как у коровы. Он, натурально, задал мне вопрос, а я охотно согласился объяснить, что к чему. При разговоре о лошадях часто упоминается их норы, поэтому в конце своих объяснений я ска-

зал: «Сын у него злобный, а он вполне добродушный».

Откуда я это взял, сейчас трудно вспомнить, только очень хорошо помню страшный удар заднего копыта, последовавший в ту же минуту. Если бы не промах в полсантиметра, быть бы мне без ноги. Копыто шло как раз в коленную чашечку.

Лапоть II оказался бесплодным, поэтому в следующем эксперименте со старорожденными участвовал его отец. Партнершей была монгольская кобыла Судьба, её вместе с другими животными подарил советскому народу еще покойный маршал Чойболсан. Было ей уже 17 лет. Она была маленькая, с горбоносой головой, песчаного цвета тёмным ремнём на спине.

Все ждали появления на свет лошадиного Квазимодо. Я ходил туда каждый день. Помню, зашел в конюшню, а ветеринарша вывела Судьбу из денника и пробует у неё на шее пульс. Я вхожу в круг света, где они стоят, и спрашиваю: «Ну, как дела?» «Завтра ожеребимся», улыбается ветеринарша.

Прийти я назавтра не смог, что-то было в школе. Чуть освободившись, я побежал смотреть монстра.

Однако вместо монстра около счастливой Судьбы покачивался на длинных ножках прелестный, абсолютно нормальный жеребёнок с таким же, как у матери, ремнём на спине. Назвали его Листок.

Что с ним стало, не знаю. Мне вскоре стало не до лошадей.

Во время конно-спортивных праздников молодой таджик с длинным неазиатским лицом, в чалме, спущенной одним кон-

цом на плечо, спросил меня, в какой стороне находится Арабистан. Видно близилось время намаза.

Узбеки ехали на кокнар, одевшись похуже, в ватниках, в валенках с галошами, в арестантских ушанках. Лошадь сбросила одного из них во время игры, пронеслась мимо меня и копытом разнесла вдребезги телевизионную камеру.

Молодой грузин, конюх, с лошадьми разговаривал только по-русски, в основном матом, хотя лошади были тоже грузинские.

Капитан грузинской команды, квадратный, с единственным голубым глазом на красном лице, вишнёвой черкеске и при серебряной шашке, пожаловался мне на то, что в программе не будет рубки. «Рубка — самый хороший» — сказал капитан. Оказывается, не достали стояков для лозы. Забавно, что я-то знал, где эти стояки есть, но лезть со своими советами постеснялся. Стояки наверняка были в Хамовнических казармах. Или их все выкинули после того, как кавалерия перестала существовать как род войск?

Я ещё успел повидать рубку. Лошади неслись по весенней грязи так, что ног не было видно, и всадники, подлетая к лозе, крутили шашку, разминая запястье. Если лоза повисала на полоске коры, с трибун неслись матерщина и свист, а шашки в ножках были воткнуты в грязь, и курсант в длинной шинели, с резким худым лицом подавал шашки подъезжающим. Они картинно пробовали их пальцем и ехали короткой рысью в другой конец дорожки, чтобы по крику командира броситься на лозу.

— Не страшно тебе ездить? — спросил я Прахова, который часто отлёживался после

падений в больницах, и сломал ногу своему любимцу Сунгуру. — Ты любишь рисовать, а я люблю ездить, — ответил мне Владимир Палыч Безносый, как звали его сослуживцы. Нос-то у него был, но почти без переносицы, татарский. Всё-таки триста лет, как-никак, правила Русью кавалеристы.

Как я был шпионом

Это случилось в один из самых зловещих периодов моей жизни — когда я учился на первом курсе полиграфического института. Я возвращался домой поздно вечером и сошёл с электрички на станции Ховрино. До моста было далеко, и я пошёл по рельсам. Кругом было темно, жутко и фантастично. Бесчисленные фонари были гораздо ярче маленькой круглой луны. В их свете вспыхивали рельсы, клубы пара и грохочущие громады паровозов. Металлический мир большой товарной станции медлительно двигался, грохотал, пускал пары и кричал нечеловеческим голосом диспетчера. Люди были не более заметны, чем их тени на чёрном снегу.

Я вынул альбом и стал рисовать отдельный вагон, стоявший на отшибе, пар и луну над жутким ландшафтом. Перешагивая через рельсы, ко мне близилось несколько фигур в постовых тулупах и с трёхлинейками. Они спросили у меня, что я рисую. — Вагон, — отвечал я. Посторонитесь, пожалуйста.

Они пошли дальше, но потом сообразили, что это непорядок, и арестовали меня.

В каморке, где заседал какой-то чин, не то дежурный по станции, не то начальник охраны, я подвергся первоначальному допросу. Документов при мне не было, кроме читательского билета исторической библиотеки, никаких. Я долго объяснял, доказывал, возмущался и даже спросил наконец: «Так по вашему, я американский шпион?». Чин уклонился от ответа и направил меня в милицию. Милиционеры встретили меня подозрительно, внимательно осмотрели мой альбом, где нашли несколько обнажённых не то статуй, не то натурщиц, и потребовали объяснений. Потом стали выяснять мою личность. В адресном столе, куда звонил начальник, ответили, что такой не значится. Положение усугублялось. Мне грозила ночь, проведённая в отделении. Я представлял себе, как дома мечется с вытаращенными глазами моя мать и как отец тщетно успокаивает её.

Я просил начальника послать домой милиционера, утешить родителей и принести мой паспорт, тем более, что отсюда два шага. Я убеждал его, что мать не выдержит и умрёт от разрыва сердца.

Начальник ответил, что ничего, не умрёт, а утром видно будет.

Наконец выяснилось, что начальник ошибочно передал мою фамилию в адресный стол, заменив -о на -а, и моя личность была установлена. Моё сообщение о том, что мой отец когда-то работал в ГАИ, вызвало ко мне симпатию и сочувствие у этих безжалостных людей. Я внутренне вздохнул. Я снова был полноправным советским гражданином, а не жалким, подозритель-

ным, безымянным существом. У меня были отец, мать, прописка и номер паспорта.

Я был, наконец, свободен.

Но я не был одинок в эти томительные часы, когда не имел имени, гражданских прав и подозревался в шпионаже. В углу сидел маленький человек в штатском, немолодой и некрасивый. У него было скорбное и задумчивое лицо. Это был станционный рабочий, проворовавшийся на досках, причем не впервой, и его не ждало ничего хорошего. Ему было, наверно, еще тоскливей, чем мне. Когда я уходил, милиционеры устроили доминишко и пригласили арестованного. Он отказался, грустно и важно покачав головой, и стал думать свою горькую думу под весёлый стук костяшек.

А я ушёл, счастливый и измученный, унося под мышкой свой роковой альбомчик. Милиционеры радостно простились со мной. Они были такие рослые, краснощёкие, белокурые, и фигурка рецидивиста в углу печально терялась на фоне их веселья.

Я жадно вдохнул морозный воздух свободы и пошёл домой. Уже все обыватели спали, шоссе было пустынно, только завывали за моей спиной электрички да брехали собаки, лязгая цепями, у самодельных обывательских сараев. Концлагерные бараки поблёскивали тёмными окнами, в которых виднелись кружевные занавесочки и вата между рамами, посыпанная елочной мишурой. Дома меня ожидали ликующие выкрики, горячий ужин и тёплая постель. Кот Гаврюшка, толстое, ленивое и сексуально-ласковое животное, залез ко мне под одеяло и уснул своим мурлыканьем.

Мысль запечатлеть с натуры жуткий станционный мир всё же не оставила меня. Че-

рез несколько дней я набил карманы всевозможными документами и пошел к начальству за разрешением. От милиционера на Ленинградском вокзале я впервые услышал это странное, гортанное звукосочета-ние: КГБ. Я шёл по вокзалу, произносил его, встречаясь с разными людьми, не понимая, что оно значит, и люди в форме проводников и милиционеров испуганно указывали мне путь. Так дошёл я до кабинета товарища Андреева. Сопровождаемый последним испуганным взглядом секретарши, я вошел к товарищу Андрееву. Он был невысок ростом, гладко причесан, непри-метен лицом и лет тридцати, а может и со-рока — меня поразил его нечеловеческий взгляд — вроде бы бесстрастный, и в то же время леденящий и пронизывающий.

— Нет, — ответил он на мою просьбу. — Мы не можем допустить, чтобы у нас по путям пол-зали какие-то посторонние люди. Вот так!

Как я был китайцем

Наш разговор с Фёдором Ивановичем на-чался крайне неожиданно.

— Вот Вы, молодой человек, к примеру сказать, китаец!

Я оторвался от книги. Рядом со мной на лавочку присел пожилой человек не-взрачной наружности, плохо выбритый, в поношенной железнодорожной форме. Он был выпимши, но в общительной и благодушной фазе.

— Ну, китаец, — согласился я снисходи-тельно. — Что скажешь, папаша?

Надо заметить, что тогда ещё не было инцидента на Даманском, а у меня не было бороды, благодаря которой сейчас меня трудно принять за кого-либо кроме того, что я из себя представляю.

— Фёдор Иванович, — так представился мне новый знакомый, — оживился и подсел поближе, чувствуя, что контакт получается.

— Как тебя звать-то, милый? — спросил он.

— Ты по-нашему не выговоришь, — сказал я, немного подумав. — Зови меня просто Володей.

Вскоре мы уже всё знали друг о друге. Я узнал, что Ф.И. — бывший стрелочник, а нынче сапожник; а Фёдор Иванович узнал о том, что родом я из Пекина, там у меня мама и брат, чем-то сильно больной, а учусь я в Полиграфическом институте. (Институт я назвал тот, в котором учился когда-то на самом деле, чтобы легче было врать).

Что меня понесло, не знаю. Не хотелось разочаровывать доброго старика, да и приятно было внимание к моей трудной судьбе. А судьба выходила очень трудная. Я был влюблён в русскую девушку, а она в меня. И жить бы нам в мире и согласии, если бы не пекинские власти. Я скоро закончу институт и уеду, а может, меня отзовут до защиты диплома — такие сейчас пошли дела. А мою Любу мне взять с собой не разрешат. Выходило так трогательно, что я сам расстроился.

А про Фёдора Ивановича и говорить нечего. Он прослезился, слез со скамейки и вдруг стал передо мной на колени.

— Володя, ты послушай меня, старика! — воскликнул он, простирая ко мне руки. — Ты пойдёшь в наше китайское посольство, и скажи им — так, мол, и так, без Любы

жить не могу и хочу остаться в Советском Союзе. А мама и брат пускай приезжают сюда, и устроим мы тут свадьбу!

Тут я заметил, что на другой стороне улицы нервно прохаживается мой друг. У него тогда тоже не было бороды, но на китайца он всё равно не был похож. Он с крайним недоумением поглядывал на коленопреклоненного Фёдора Ивановича.

Я понял, что разговор надо кончать. Я, собственно, и сидел-то на лавочке, только поджидая друга.

— Так ведь не разрешат, сволочи, забрать маму-то с братом, — горько сказал я. Фёдор Иванович вскочил на скамейку и обнял меня.

— Разрешат! Вот увидишь, разрешат! Да я сам с вами в посольство пойду!

Он сильно увлёкся этой идеей и не сомневался в том, что будет на нашей с Любой свадьбе первым гостем. Надо было что-то придумать.

— Фёдор Иванович, стипендия у нас, китайцев, маленькая, — сказал я тоскливо.

— С утра не жрамши. Дай рубль!

Тут и Фёдор Иванович понял, что надо кончать. Он приуныл, торопливо дал мне двадцать копеек и объяснил, как его найти в случае чего.

Так получил я от доброго русского человека двугривенный. А незадолго до этого вылетел из плана Гослитиздата китайский роман, который я должен был оформлять. Потерял я на этом рублей пятьсот новыми. И этого я, конечно, никогда не прощу пекинскому руководству, не говоря об истории с Любой, мамой и больным братом.

Поздно вечером я сидел за столом и кропал какую-то очередную ахинею для издательства.

Я очень люблю стихотворение Эдгара По «Ворон» и часто бормочу про себя эти прекрасные строфы. Можете себе представить, что я испытал, когда в мою комнату влетел ворон и сел не на бюст Паллады, правда, но на голову Венеры милосской!

Пока я выяснял, что не сплю, и не сошёл с ума, ворон слетел с Венеры, сел на пол, растопырил крылья и заорал: «Крра!».

Это был, конечно, не ворон, а молодая галка, по-видимому уже побывавшая в человеческом обществе. Во всяком случае, она давалась в руки. В холодильнике нашлась сырая котлета. Я слепил из неё червяка и сунул в отверстие глотку — и раз, и другой, и третий. Наконец птица наелась и стала выискивать место для ночлега, летая по комнате и оставляя следы своего присутствия. Я быстро смотался во двор, принёс коробку из-под яиц, провертел в ней дыры, сделал насест из жёрдочек, поставил блюдечко с водой и закрыл галку в коробке.

Оттуда какое-то время доносилась возня, потом стало тихо. Тогда я сел за стол и с приятным чувством нарушенного одиночества продолжил работу. Утром я опять сел за стол, а галку выпустил — жалко было держать её взаперти. Она уселась у меня на плече и пыталась схватить клювом кончик моего цангового карандаша. Я вспомнил, что птицы, вроде галок, любят блестящее, и устроил на шкафу уголок игр. На газете я разложил множество металлического

барахла — гаек, обрезков металла, винтов и т.п., благо это добро у меня всегда есть. Выдумка оказалась удачной. Галка часами сидела на шкафу, разбирая железки и перекладывая их клювом с места на место. Особенно умилило меня то, что она чесалась, стоя на одной ноге.

Возвращался я из издательства с тем же приятным чувством присутствия в доме чего-то живого. Держать галку в коробке я не стал, и она вылетела в окно. Её долго не было, я вышел на балкон и увидел, что галка сидит на балконе далеко от моего, а толстая баба машет на неё тряпкой. Галка взлетает, но вскоре опять садится на железные перила. Очевидно, она не могла отличить мой балкон от другого.

— Не трогайте её, пожалуйста, — заорал я. — Это моя птица, я сейчас приду и заберу! Какая ваша квартира?

Баба сказала, и я побежал за галкой. Там было много народу, и все мне не советовали связываться с такой дрянью. «Она принесёт вам несчастье!», уверяли меня жильцы. Однако я прошел на балкон, и галка, увидев меня, растопырила крылья и заорала: «Крра!». Я спокойно взял её в руки и унёс домой.

В общем, я сильно к ней привязался. Пару раз она улетала, и так приятно было её возвращение! Видно, она могла всё-таки опознать балкон.

Я уже намеревался сделать на балконе какой-нибудь опознавательный знак, но галка однажды не вернулась. Я долго поглядывал на балкон, всё ждал её крика, ставшего уже привычным, но тщетно я ждал. И вскоре увидел, как большая стая галок пронеслась над нашим двором.

В период скитаний по Москве я был близок с Иодковским. Промотавшись день по редакциям, я к вечеру звонил ему, мы встречались и отправлялись на поиски приключений. Так, нас однажды занесло на ликёро-водочный завод, на местный голубой огонёк. На столах не было ничего спиртного, только кофе и пирожные. Я сидел, ел бесплатные лакомства и ждал своего выступления. Но Эдмунд так меня и не объявил, зато много выступал сам. Я на него не обиделся, тем более, что для получения гонорара он меня позвал. Гонорар нам выдали натурой. Какой-то официальный мужчина повёл нас по тёмным коридорам и привёл в комнату, где сидела и стучала на машинке пожилая дама. — Марья Ивановна, гм! — сказал мужчина. — Сейчас, сейчас, — заторопилась Марья Ивановна и достала из шкафа бутылку. У мужчины в кармане лежало яблоко, он разделил его на две части. Ничего более прекрасного, кажется, я в жизни не пил. Это была какая-то водка в экспортном исполнении, у нас не продающаяся. Потом Эдмунд пригласил меня переночевать, и мы поехали. Снимал он комнату в ветхом деревянном домике, каких все меньше становится в Москве. Поднимаясь по скрипучей лестнице, мы заметили на площадке двух девушек, которые, как выяснилось, дожидались прихода подруги. Мы тут же пригласили их к себе. Девушки были симпатичные, но очень молодые. Они учились в школе с китайским

уклоном — тогда ещё было такое. В обществе двух подвыпивших поэтов они жутко стеснялись, поэтому мы вскоре расстались с ними и стали укладываться на ночлег. Эдмунд намеревался устроиться на диване в комнате отсутствующих хозяев, а мне предоставил собственную кровать, почему-то с голой железной сеткой. Перед тем, как улечься спать, ему вздумалось послушать ещё раз какие-то мои стихи. Я начал читать, а он лежал на железной сетке и кайфовал. Кайфовал он недолго, так как уснул под моё чтение. Я и на этот раз не обиделся, а только разбудил его и он ушёл к себе на диван. Я улёгся на сетке. Понеслись перед глазами перепутанные картины дня, привиделась какая-то околесица и я уснул. Вскочил я среди ночи от яркого света. В дверях стоял Эдмунд в белом свитере. Свитер был залит кровью, которая струилась из рассечённой головы. Я бросился за полотенцем, мы кое-как сделали перевязку. Вот что случилось. Эдмунд улёгся на диване, а диван был старомодный, с полочкой. На этой полочке стояла радиоточка, а шнур её зачем-то был пропущен под подушкой. То есть человек, улегшийся на диван и положивший голову на эту подушку, автоматически обрушивал на свою голову радиоточку. Удар пришёлся около виска, причём радиоточка ударила не ребром, а углом. Ещё чуть-чуть и писал бы я об Эдмунде как о ныне покойном. Но он жив-здоров, женился в очередной раз. Тогда ещё, я помню, он хвастал своим счастливым избавлением от смерти и приговаривал: «Я ушиблен пропагандой».

Псилоцибин

Это была странная лаборатория. Занимались там чёрт знает чем, а по научному — парапсихологией. Там было много всякой техники, отовсюду тарасились страшноватые приборы и приспособления. После опытов по телепатии и ясновидению подопытные и экспериментаторы подолгу распивали чай и обсуждали результаты экспериментов. В этот диковинный подвал на Таганке я попал в тот момент, когда там появилось несколько доз псилоцибина. Это нечто вроде ЛСД, сильно действующее средство, вызывающее обильные галлюцинации. Двое парней попробовали его до меня, но ничего особенно интересного не увидели. Тогда-то и вызвали меня, как человека, наделённого некоторым воображением и к тому же умеющего рисовать. В назначенный час я в сопровождении своего близкого друга явился в лабораторию. Друг был со мной не просто так, а как необходимое условие эксперимента. Было известно, что присутствие близкого человека делает эксперимент более безопасным.*

Из записных книжек

Две небритые личности в ушанках и ватниках зашли в магазин, купили большой красивый торт и вышли. Пока я болтался в магазине, они успели вернуться и стать

* Рассказ не закончен.

в очередь винно-водочного отдела, причём лица их были вымазаны кремом.

Есть такое место — Святогорск. Над речкой высится прекраснейшая гора, поросшая лесом, в горе — монастырь. У монахов, видимо, была губа не дура, выбрали местечко, что надо. Вид оттуда открывается необозримый. А над-по монастырем стоит огромная скульптура с квадратным черепом. Я поинтересовался у местных жителей, кто ж это там высится? Оказалось, что это известный большевик по кличке Артём, а фамилию не припомню. А голову в войну снарядом отшибло, — добавили местные жители.

Я в те годы был большой охотник до достопримечательностей и полез наверх. В пещеры я не попал, потому что недавно там кто-то заблудился, и их заперли. А у подножия статуи я побывал. Никаким снарядом ей череп не отшибало, просто таков был замысел скульптора-конструктивиста или как его там, чёрт их разберёт. Так он и стоит с квадратной головой, выставив ногу, над всем Донбассом, а на постаменте — надпись. Будто выцарапанная гвоздем: «Зрелище неорганизованных масс для меня невыносимо».

Вот ведь какой был человек, — думал я, спускаясь. Как увидит неорганизованную массу — тут же, небось, её организует!

Когда я был на практике в Муханове, руководителем был Николай Иванович Андряка. Иногда, впрочем, он писался на итальянский манер: Андреако. Сейчас он директор МСХШ, а тогда он ещё ходил в шинели, так как был отставным военным.

Вот стоит он, как сейчас помню, перед этюдами, разложенными на полу. Левая рука в кармане, правая почёсывает волосатую грудь под расстегнутой ковбойкой, в зубах папираса. Левый глаз прищурен, правый смотрит на мои этюды. Левая нога у него опорная, а правой, носком, он показывает на мои избушки и закаты. «Ну, что я могу сказать? — говорит Николай Иванович невнятно из-за папирасы. — Мыло!»

Однажды мой кот в три часа ночи явился домой, и в зубах его была ещё живая морская свинка. Где он, подлец, поймал морскую свинку — совершенно непонятно. Он прыгал за окном, как барс, глаза его безумно горели, и он молча, одними глазами требовал, чтобы я его впустил. Он хотел съесть свинку уютно, в тепле. Я, однако, его не впустил, и утром на подоконнике увидел следы его пиршества.

Однажды в кругу семьи я ел котлеты. Разглагольствуя о чём-то, я поднял вилку с котлетой и слегка ею жестикулировал. Закончив свою тираду, я поднёс вилку ко рту, но котлеты на вилке не было. После некоторого шока я обернулся и увидел кота, который сидел на крышке пианино сзади меня и облизывался.

На раскопках Неаполя скифского не было ни души. Среди руин, шаркая, бродил товарищ Емелин, старичок с прокуренными усами. Он говорил неграмотно, но научно-образно, видимо наслушавшись экскурсоводов. Сам-то он был не то хранитель, не то просто сторож. Однако давал пояснения неорганизованным туристам.

— Надо думать это была непростая скифа, — заметил он, объясняя какое-то погребение. Я оглянулся и увидел на покато холме горбоносую лошадь. Она была стреножена и щипала траву — точь-в-точь как на чертолыицкой вазе. Я был очень романтического мнения о скифах именно из-за этих ваз, и сравнительно недавно узнал, что делал их грек.

Окоченевшие, мы стояли в снегу по колено. Перед строем молодецкато прохаживался товарищ полковник. Фамилия его была Пятковка, и подбородок у него был скошенный и похожий на пятку. Он давал нам вводные, а мы должны были принимать решения, как обороняться. Видимые вокруг рощицы и деревни получили условные военные наименования, и из-за них по прихоти полковника появлялся противник. Кому как повезёт.

— Курсант Ковенацкий!

— Я!

— Даю вводную.

И начинает мне рассказывать какой-то ужас. Там — базуки, там — танки, оттуда пехота валом валит. А у меня и солдат мало и техники кот наплакал. Ну, думаю, пропал!

— Ваше решение?

— Бежать, товарищ полковник!

С Рыжиком был несколько похожий эпизод, только вводную ему давали на организованное отступление. Рыжик знал, что на войне самое главное — храбрость, и поэтому скомандовал:

— Вперёд, в атаку!

— Мда, — сказал полковник. — Решение странное, но допустимое!

Молодой художник Володя был беден и худ. Жил он в коммуналке, в маленькой комнате, где на бывшем камине был нарисован гусар на вздыбленном коне, а рядом пехотинец, зарубленный этим гусаром.

Питался он зачастую за счёт соседей, то есть по ночам лазил по холодильникам и кастрюлям.

Вот однажды он вытащил из соседского супа кусок мяса и хотел было тут же его и съесть, как чувствует — что-то неладно. Оборачивается и видит — на него смотрит хозяин кастрюли.

— Эх, жаль, не моё! — сказал Володя и положил кусок на место.

В прекрасное летнее утро Володя собрался на этюды. Собрался он капитально, на несколько дней, поэтому барахла было много. Когда подошёл теплоход, Володя бросился вместе с толпой по сходням, оставив вещи на берегу, занял хорошее место на палубе, положив на скамью кепку, и пошёл за вещами, радуясь предстоящей поездке на вольном воздухе. Возвращается на корабль и видит, что на его месте сидит огромный, толстый татарин.

— Позвольте, но я же занял тут место! — попробовал протестовать Володя. — Я же оставил кепку!

— Кепка — не место! — ответил татарин.

— Человек — это место! — и при этом хлопал себя по мощной груди.

— А где кепка? — спросил Володя.

— На! — и татарин вручил ему кепку, которую временно возложил на себя. Володя

понял, что ему придётся стоять всю дорогу.

А татарин лукаво прищурился и сказал:

— А ты романтик!

— Почему?

— Ты мечтаешь, как меня убить!

Село, в которое мы пришли, носило странное название Богослов. Наверное, именем Иоанна Богослова называлась разрушенная и заросшая церковь.

Магазин ещё был закрыт, и на завалинке сидели какие-то корявые люди. Большой пёс песчаного цвета, с немолодой, умной мордой подошёл к нам, обнюхал и успокоенно улёгся среди лопухов.

По радио играли Вилло-Лобоса, и так странно было слышать эти испанские ритмы в костромской глуши. Я присел в тенёк, и вдруг почувствовал, что жить на свете — колоссальное удовольствие.

Как-то я остался один в мастерской и прилёг отдохнуть. А мастерская представляла собой огромный безобразный зал сельской школы. Место же отдыха было на сцене за алыми занавесями.

Я слегка вздремнул, а дверь в школу забыл закрыть. И, пробуждаясь, слышу, как по залу кто-то ходит. Причём звук ходьбы какой-то жуткий, вроде бы инвалид на деревянной ноге. Кстати, один инвалид к нам заходил насчёт того, чтобы нарисовать картину. Сюжет картины он описывал так: «Лес, вода, и мужик пушай идёт. А с ним собачонка». Вот, думаю, не он ли? — Эй, кто там? — кричу я со сцены. Он не отвечает, грохочет по залу. В раздражении, смешанном со страхом, я встаю и открываю занавес. Оказывается, телёнок! Может быть,

это был тот самый телёнок, который недавно целый день стоял в уборной, вымытой по случаю выпускного вечера и прибытия гостей. Видно, любил чистоту. Я закричал на него, и он убежал, грохоча копытами по пустой школе.

Раз пришёл я к своему сыну и сижу с ним, а бывшая жена ревниво подслушивает наш разговор.

— Вот, Гошенька, — тихо говорю я, поглаживая мальчика по голове, — когда Гней Помпей убил парфянского царя, парфяне так расстроились, что проиграли сражение.

Тут мать мальчика считает своим долгом вмешаться: — Ты преувеличиваешь роль личности в истории. Надо больше внимания уделять политическому воспитанию ребёнка!

Как-то пришёл мне в голову сюжет рисунка: ночной пустырь, а по пустырю бегут двое. У одного вместо головы огромная лампа, ярко горящая, свечей в 500, а у другого в руке молоток на длинной рукоятки. Когда человек с молотком догонит человека-лампу, во всём поселке Лихоборы погаснет свет. На заднем плане, естественно, бараки и т. д.

Гуляя по улице Горького с Ю.В. Мамлеевым, на подходе к Моссовету, я вспомнил об этом сюжете и рассказал своему спутнику.

— Обязательно нарисуй, — живо отозвался Мамлеев.

Ободрённый, я пришёл домой, но всё никак не собрался сесть за работу. А около 12, когда всё утихло, я удобно устроился



за секретером, прикнопил лист хорошей бумаги, тщательно нарисовал всё вышеизложенное твёрдым карандашом и остался доволен тем, что вышло.

Затем я взял баночку с тушью, ручку с пером «Редис» и обмакнул ручку в тушь. Но я не успел провести ни одной линии. Хотите — верьте, хотите — нет, но свет настольной лампы стал медленно меркнуть, а потом воцарился полный мрак. Я бросился к выключателю. Нет, света не было во всей квартире. Не было его и во всём огромном доме сталинской постройки. Я засуетился, побежал вызванивать техпомощь и тому подобное. Свет, однако, появился только утром.

И только тогда до меня дошла связь между моим рисунком и происшедшей аварией — и очень хорошо, потому что ночью от такой мысли я наверняка бы свихнулся.

Во сне ко мне явился господин в чёрном, наглухо застёгнутом пальто и в таком же котелке. Не представившись, он расстегнул пальто и вынул из-за пазухи эстамп.

— Молодой человек, не знаете ли вы, чья это работа? — спросил гость.

Я не знал. А гравюра была на дереве, книжного формата, и изображала залитую лунной площадь в городе, похожем на Ленинград времён блокады, с руинами. На площади стоят три мужика и как бы совещаются. При одном чемодан, вид у них тревожный. А чуть поодаль стоят, отбрасывая длинные тени, три кота, так же, как и мужики, нос к носу. Всё бы ничего, но каждый кот размером со слона, не меньше. Ночной гость ушёл, так ничего от меня и не добившись, а мне ничего не оставалось поутру, как сесть за стол и выполнить показанную мне картинку. Правда, на дереве я тогда не умел и сделал рисунок тушью.

А вот маленький сончик, который может присниться только советскому человеку. Видимости никакой этот сон не имел, состоял только из напечатанной якобы в газете фразы: «В 1976 году Михаил Зуб стал бригадиром строителей».

Настоящая фамилия Виктора Урина, говорят, была Уран.

Этот человек с планетарной фамилией был какое-то время моим собутыльником и антрепенёром — сообщником в попытках сделать карьеру. Одна из его выдумок была следующая.

В комнате его к потолку был подвешен шар, состоящий из множества металлических цилиндров, внутри полых, с завинчива-

ющейся крышкой. Внутри каждого цилиндрика лежала плёнка с записью голоса поэта какой-либо страны, а на крышечке награвирован соответствующий символ. На ребре же цилиндрика — он был гранёный — награвирована была строчка из стиха этого поэта. Помню строчку поэта из какой-то людоедской страны, Танзании или что-то в этом роде: «Худшее из всего — террором обезображена страна моя». Плёнки и тексты он получил, списавшись со всей планетой. И называлась вся эта хреновина «Глобус поэзии».

Что-то он с ней предпринимал, где-то выступал, демонстрируя своё изобретение. Задолго до знакомства с ним я видел на Пушкинской площади легковую машину, на крыше которой сидел привязанный беркут. Я не знал тогда, что в машине ехал Урин.

Раз сел я в такси и вижу — таксист необыкновенной внешности. Маленький, сутуловатый, и борода лопатой чуть не до пояса. — Папаша, — говорю, — какой у вас вид-то партизанский.

— А я и есть — партизан! — ответил таксист, и продолжал при моём молчаливом восхищении: — Меня в отряде так и звали: «Борода». Если языка возьмут, а он молчит, то надо, говорят, отдать его Бороде. Я уж его возьму, привяжу к берёзе и мучаю, мучаю, пока всё не скажет.

— А какой автомат лучше, ППШ или Шмайссер?

Таксист минуту подумал.

— Шмайссер удобнее, — сказал он, не отрывая взгляда от дороги. — У него затвор слева открывается.

Я, когда был молодой, здорово поддавал. И стал мне по пьяному делу открываться смысл жизни. Да вот беда — поутру ничего не помню. А записать, когда открывается, я уже не в состоянии.

Наконец я решил все-таки этот момент преодолеть и заранее приготовил блокнот и ручку. Сижу с компанией, чувствую — начинает открываться, я хватаю ручку и пишу. Утро встал в тяжелом похмелье. Ну-ка, думаю, в чём же смысл жизни? Открываю блокнот, а там такая абракадабра написана, что я её даже не запомнил. Замечательна была только орфография, например слово «человек» было написано так: «чиллоовек»!

Сегодня было фантастическое утро. Деревья были густо заснежены, голубовато-лиловый сумрак был подкрашен розовым, очень чистым и тонким, и яркая лимонно-белая луна была высоко над деревьями.

Дупло в зубе, а в дупле живет гималайский медведь, очень маленький. Человек не хочет пломбировать дупло. «Где же будет жить мой медведь?» Иногда достаёт медведя и разрешает рассмотреть его в лупу, пустив на ладонь.

Когда-то, по глупости и молодости лет, я думал, что меня минуют типичные для больших людей бедствия: непризнание, глумление толпы, отсутствие личной жизни, безработица и ранняя смерть. Оказывается, всё налицо. Думаю, что и последний пункт — не пустое слово.

Настольная лампа как единственный маяк в жизни. В её чистом и сильном

луче светится мой рабочий стол, поблёскивают банки и штихеля. Это мой мир, тёплый и дружественный.

Под конец «Ада» Данте выдохся. Люцифер совсем не убедителен. Даже Дорэ не изобразил его. Вообще рисунки величественны и красивы, но часто очень поверхностны.

Голливуд экранизирует «Слово о полку Игореве» под названием «Поцелуй в степи». Князь Игорь — Грегори Пек, Ярославна — Брижит Бардо и т.п. Центр фильма — бой с потрясающими панорамами, а также любовь Владимира и Кончаковны. Овлур — комический персонаж. Много клюквы — в Путивле церкви 18 века.

Ex libris — очень тонкий жанр, вроде портрета. Это символический портрет.

Человек опёрся локтями о стол. Перед ним лежит кус линолеума, отшлифованный и залитый тушью. Человек нагибается, вонзает в линолеум сверкающий желобчатый инструмент, и на чёрном линолеуме возникает первая песчано-красная ложбинка. На оттисках она будет ослепительно белым штрихом среди космического мрака.

Вдруг сформулировал свою тему: человек и его создания; человек в мире вещей, природа — фон. Поэтому я не анималист, а рисователь созданий человека. Итак, в мою сферу входят корабли, архитектура, машины, оружие, мебель, домашние животные.

Природа без человека — вне моего поля зрения, т.к. я её никогда не видел, я человек урбанистический, даже субурбический, но не деревенский, не лесной и т.д. Из животных у меня в кармане: лошадь, кошка (тигр), верблюд, собака.

Профессионализация дает скорость. А скорость — это время на жизнь, чтобы она не состояла из одного только сидения в мастерской. Да, голод впечатлений — вот, что меня донимает. Прямо авитаминоз.

Гравюра — вещь древняя. Первые гравюры делались ножами на продольном дереве, имели линейный характер и церковную тематику. Современную торцовую гравюру выдумал англичанин Томас Бьюик. Его гравюры, изображающие английских зверей и птиц прелестны счастливым ощущением нового материала и стремлением искорыгать каждый квадратный элемент. И до сих пор могуча среди художников тяга к этому древнему и замысловатому ремеслу. Научиться культурно гравировать может каждый, но приходят в гравюру многие, остаются единицы. Гравюра — вещь, требующая особого мировоззрения, особой склонности к ней.

Не так сверсталось, как мечталось.

VIII

Нора Григорьева-Ковенацкая. Записки младшей сестры

Юрий Стефанов. «Я весь — огромный штихель...»

Лев Кропивницкий. О Владимире Ковенацком

Владимир Орлов. От составителя

Записки младшей сестры

Родители

Владимир Ковенацкий родился 30 марта 1938 г. в городе Харькове в семье скромных совслужащих. Мать, Евгения Ефимовна Трабская, происходила из семьи, весьма известной на юге России огромным состоянием прадеда. В советское время капиталов в семье, конечно, никаких не осталось, однако мама унаследовала от предков нечто большее: талант, красоту, твёрдый характер. Разносторонняя одарённость позволяла маме одновременно с лёгкостью учиться в Харьковском автодорожном институте и в Харьковской консерватории: она разрывалась между увлечением точными науками и вокалом (у неё был большой оперный голос — колоратурное сопрано). С пением мама не порывала никогда. Впоследствии в Москве, уже став кандидатом технических наук, она продолжала заниматься с педагогами, выступала на различных концертных площадках под псевдонимом. Кроме того, мама обожала поэзию, постоянно бывала в Харьковском доме литераторов (дом Блакитного), хорошо знала творчество поэтов-современников. Именно она ввела Володю в мир поэзии, например Пастернака, книг которого достать не могла, читала ему наизусть.

Отец, Абрам Григорьевич Ковенацкий, был из «местечковых», кому советская власть открыла дорогу к новой жизни. Человек он был обстоятельный, уравновешенный, на все руки мастер, никогда не повышавший голоса — как будто специально родившийся, чтобы работать в ГАИ (я имею в виду представление об инспекторе ГАИ как об оплоте законности и порядка, существовавшее в то время). В послевоенной Москве, будучи капитаном милиции, он преподавал вождение Тамаре Макаровой, Алексею Баталову — у них первых появились частные автомобили. В связи с этим он бывал в знаменитом доме на Ордынке, и отчим Баталова, известный писатель-юморист Виктор Ардов посвятил ему один из своих рассказов. Знакомство было интересное, а могло бы оказаться и полезным, так как Володя уже в то время успел проявить себя блестящим карикатуристом, но «Крокодил» был недоступен — как знать, если бы была поддержка...



После института мама окончательно связала свою жизнь с автомобилестроением, поступила в аспирантуру, и защищаться должна была в Москве. Война на какое-то время затянула процесс, но после эвакуации (уже не только с братом, но и со мной на руках) семья оказалась в Лихоборах, тогдашней рабочей окраине Москвы, где и по сей день находится НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт).

Лихоборское детство

Мои воспоминания о Володе относятся в основном к лихоборскому периоду, когда мы жили под одной крышей. Согласно семейному преданию, увидев меня впервые — это случилось в Перми, ему тогда было шесть лет — он заявил: «Унесите её обратно!». Однако со временем вошел в роль старшего брата и усердно воспитывал, по большей части при помощи подзатыльников. Мои первые воспоминания о нем — ожидание его появления, как праздника (оно осталось навсегда). Володя рос вундеркиндом, и тогда уже твердо знал, что станет художником. Мне это приходилось испытывать на своей шкуре, т. е. служить ему моделью, это мне как раз меньше всего нравилось, было трудно долго оставаться без движения, но приходилось подчиняться. Мы росли вместе, и я была его тенью, отражением. Я любила то, что любил он, стремилась знать то, что знал он — будь то формула биннома Ньютона или названия мускулов лошади. Сохранился рисунок под названием «Нора — профессор иппологии», на котором видны и плакат «Мускулатура лошади» и моё усердие по его изучению. Этот самый плакат («освежёванная лошадь», как называла его мама), висел на стене над кроватью. На нем были нанесены латинские названия каждого лошадиного мускула и сухожилия. Володя знал всё это наизусть, и разбирался в том, как взаимодействуют мускулы при движении лошади. Он говорил, что нельзя рисовать животное или птицу, не зная, что у него в середине, под покровом кожи, шкуры, перьев и т.п. Каждое воскресенье Володя отправлялся на ипподром на бега и делал там зарисовки. В конюшнях ипподрома Володя был своим человеком. Знал историю каждой лошади, представленной в музее коневодства. Рисовал он лошадей, как людей, с учётом характера и совершаемого действия. Володя любил рисовать



и других животных, в особенности тигров. Добившись от руководства зоопарка разрешения рисовать животных до прихода публики, он проникал к клетке любимого тигра во время уборки и кормления, и делал наброски.

Для Лихобор того времени, этакого пролетарского гетто, Володя был фигурой редкой, экзотической (плотный очкарик с отсутствующим взглядом, не расстающийся с карандашом и блокнотом). Казалось бы, идеальная мишень для местной шпаны. Но такова была сила его таланта — никто не обижал. Напротив, он часто шёл, окруженный плотным кольцом сверстников, замороженных бесконечными, на ходу сочиняемыми историями. Мне Володя на ночь рассказывал истории из жизни французского мальчика-амфибии Пьера, каждый день — новые приключения (ничего общего с Беляевым). Это была захватывающая литература — мурашки бежали по спине!

Кстати, лихоборские персонажи в художественном изображении Володи кажущиеся плодом безудержной фантазии, — для меня абсолютно реальные люди, соседи по барaku. Характеры и пластика их переданы с таким невероятным, концентрированным реализмом, что я совершенно отчетливо, как в детстве, вижу дядю Яшу Осташова, вечно торчащего во дворе у окна нашей кухни в галошах и «довоенных штанах хороших», в пальто, надетом прямо на майку, в позе, схваченной Володей. Домыслом в стихотворении, ему посвящённом, является разве что перловая каша в животе, которую сумел разглядеть художник. Горбатенькая тетя Поля на картине, сделанной маслом, — вовсе не абстрактная баба с ведрами, а няня, вырастившая меня с трехлетнего возраста. И этот взгляд ее, полный смертной тоски, врезался в память. Помню я и «шали бахрому» вокруг рыбого лица Нюрки Гасенкиной и косматые брови ее сожителя.

По ночам я часто просыпалась от взрывов хохота, который вызывали у Володи только что вышедшие из-под его собственного пера или карандаша рисунки из альбомов «Веселый Ковенацкий», серий «Быт сумасшедшего дома», «Страна Ковения». В то время по вечерам часто отключали электричество, и тогда, в абсолютно тёмной комнате, забравшись с ногами на родительскую тахту и обнявшись, мы начинали петь. Репертуар был разнообразный и весьма обширный: арии из опер, чаще всего из особенно любимых «Князя Игоря» и «Аиды», военные песни, но не официозные — «Нашёл я чудный кабачок», «Карманные фонарики», «Пыль» Киплинга-Аграновича, всевозможные марши, русские народные песни: «Были у тещи пять зятевей», «Когда будешь большая, отдадут тебя замуж» и т.д. Сколько бы ни длилось отсутствие электричества — репертуара вполне хватало.



Для меня это всё были счастливые моменты. Если он начинал сочинять свои тексты на мотивы популярных песен, всегда поощрял, когда мне удавалось вставить слово, очень был щедр в своем творчестве, это навсегда в нём осталось.

Смею думать, что ему всё-таки не хватало во взрослой жизни той собачьей преданности, того немного восторга, с каким я неизменно принимала любое его проявление. Для мамы Володя тоже был не просто обожаемым сыном, а и любимым художником и поэтом. Хотя от неё ему часто приходилось защищаться, т.к. из лучших побуждений она склоняла его к конформизму в творчестве. Правда, в поэзии Володя всегда признавал мамин авторитет. Они часто закрывались в маленькой комнате, и он читал ей свои стихи. Меня при этом всегда выгоняли, и я подслушивала под дверь, холодея от страха быть обнаруженной и наказанной. А доставалось мне от Володи частенько, т.к. характер у него был взрывной, как говорили в семье: «в дедушку».

МСХШ и друзья

С 11 лет Володя начал учиться в МСХШ при Суриковском институте — тогда очень престижном заведении. Однако он быстро разочаровался в системе обучения, которая царил в школе, преподавателей-соцреалистов презирал. Была история, перекликающаяся с детской про жёлтого коня, когда он изобразил лилового коня, и педагогиня кричала на него: «Где ты видел лиловых коней?» Уже тогда он увлекался графикой, стремился возродить искусство старых мастеров, достичь уровня Дорэ, Дюрера, заявлял, что живопись его не интересуется. В МСХШ это не приветствовалось. Возникали конфликты и на другой почве. Володя усиленно занимался самообразованием, изучал, и очень углублённо, то, что его занимало. К 16 годам он был уже энциклопедически образован, но точные науки не входили в круг его интересов, он не желал тратить на них своё драгоценное время — в результате маме часто приходилось вытаскивать его из двоек по алгебре, физике и т.п.

Вписываться в рамки школьной дисциплины неуёмная энергия Володе не позволяла, и он частенько становился героем нелепых историй. Однажды на уроке физкультуры он пробежал через весь зал в одних трикотажных кальсонах с криком: «Наполеон! Наполеон!» Времена были пуританские, присутствующие девочки возмутились. Вышел скандал. Наконец, в десятом классе, Володя умудрился показать библиотекарше не то кулак, не то фигу, за что и был благополучно из МСХШ отчислен. Правда его этот факт не слишком сильно расстроил, он перевёлся в обычную школу, и аттестат получил вовремя. Разумеется, в МСХШ Володя получил профессию-

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ

С. КАРАСЕВ и Г. КУЛИКОВСКАЯ

Знаменитому русскому художнику Карлу Брюллову было всего десять лет, когда его привели в Петербургскую академию художеств. Четырнадцатилетним мальчиком Брюллов получил серебряную медаль за экзаменационную работу «два натурщика». В эту же академию подростками были приняты Ф. Бруни и А. Иванов.

В рисовальных школах занимались в юношеском возрасте Рапин и Саврасов. С детских лет начали рисовать Айвазовский и Серов...

Из поколения в поколение в русских художественных школах воспитывались рисунки, сотни талантливых сынов нашего народа. Особенно ярко проявляется эта традиция русского изобразительного искусства в наши дни: почти во всех городах страны существуют изобразительные школы, в которых занимаются одаренные дети. В Москве, Ленинграде, Киеве, Наумове и Риге работают художественные школы-детсады.

В Московской школе при Институте имени Сурикова, существующей более десяти лет, прошло курс обучения около четырехсот молодых художников и скульпторов. Многие из воспитанников стали затем студентами художественных и архитектурных институтов.

Напротив Третьяковской галереи, на другой стороне тихого Лаврушинского переулка, находится Московская городская художественная школа при Институте имени Сурикова.

Ее питомцы — постоянные посетители галереи. Их здесь можно увидеть в живописи, скульптуре, графике.

Вместе с группой оживленно беседующих мальчиков мы выходим из галереи, идем к зданию школы. Поднимаемся по широким лестницам в классы. За небольшими мольбертами сидят подростки.

Перед ними на столике фарфоровая ваза, тяжелыми складками падает драпировка. Идут занятия по рисунку с гипса. В младших классах одновременно с рисунком, лепкой и акварелью изучается и композиция.

Опытные педагоги бережно вы-

являют наклонности каждого ученика. И. Свѣтич, мальчик из далекого казахстанского городка Джамбула, посвятил свою работу борьбе за мир. Рисунок еще не окончен, но, кажется, будет удачным. Второклассник Коля Юдин увлечен фантастическим

котором изображена Солоха, вылетающая из трубы. На голговерской выставке в школе он получил одну из первых премий. Этюдом с натуры Сергея Чесова, правнука великого писателя, радуют глаз верно переданными пропорциями, правдивостью пейзажа.

К четвертому классу обычно определяется профиль будущих художников. Вера Пирогова, например, твердо решила стать живописцем, а Юра Чернов и Зина Пьянцева посвящают себя скульптуре. Пока же будущие живопис-



У понравившейся картины.

цы и скульпторы проходят курс классической анатомии, осваивают перспективу, изучают историю искусства.

В школе часто бывают преподаватели Института имени Сурикова. Они читают лекции, проводят беседы о современном искусстве.

Школьники, в свою очередь, — стые гости в институте. Они осматривают студенческие выставки, показывают студентам свои работы.

В гости к ребятам часто приезжают художники, артисты, писатели.

Юные художники
в Третьяковской галерее.
В центре —
Володя Янкилевский
и Володя Ковенацкий.
Журнал «Огонёк», 1952.

нальные знания и навыки, Третьяковка, расположенная напротив здания школы, стала для него родным домом, но самое ценное, что дала ему МСХШ — друзей — замечательно талантливых ребят, которые часто приезжали к нам в Лихоборы и до, и после его ухода из школы.

Не все они были его единомышленниками. Валера Левенталь, например, хотя и интересовался Володиным творчеством, однако, называл этот сплав фантазии и сугубого реализма, юмора и мистики «Ковенатчиной», и в компанию не входил, разошлись они и с Володей Янкилевским, с которым очень подружились поначалу. Но самые близкие — Слава Наумов, Юра Рыжик, Коля Устинов, Алёша Смирнов разделяли Володины взгляды и увлечения. Это было сообщество талантливых людей, которых общение взаимно обогащало, давало возможность развиваться. Володя увлечён был линогравюрой, занимался созданием инструментов — штихелей различ-

ных размеров и форм. Он много времени проводил тогда в графическом кабинете Пушкинского музея, приобщил к этому и друзей, восхищался искусством Мазереля, Староносова. Вот его собственные записи того времени: «Кто я? Реалист с экспрессионистским уклоном. Но я очень привержен к символистам». И ещё: «Хочешь давать искусство животрепещущее, нервное, мимолетное, — занимайся просто графикой. Хочешь давать нечто цельное, непреходящее, монументальное, — займись гравюрой! Художественный язык её сложен, не скор и убедителен необычайно. Гравюра скажет — так обухом ударит. Я имею в виду современную гравюру, включая, пожалуй, и глубокие техники. Пример: Гу Юань. Это не шепоток карандаша, и не танцевальные мелодии акварели. Туши тоже не хватает основательности». А вот что он писал о гравюре чуть позже (уже будучи студентом МПИ): «С гравюрой у меня странная вещь: если раньше меня вдохновляла трудность, непокорность материала, борьба стали с линолеумом, то теперь раздражает рабская покорность материала — настолько я насобачился в обработке линолеума, столько накопил технических знаний. Что даётся даром — не радует».

Как позже заметил Слава Наумов: «У него был свой мир и культура». Всем этим Володя и делился щедро. Друзья всегда были в курсе новых работ друг друга, часто занимались поэтическими играми. На сборищах они веселились безудержно. Вечеринки, которые проходили у Володи, всегда были тщательно подготовлены со свойственной ему основательностью. Это никогда не было просто застолье — всегда срежиссированное действие. Особенно широко отмечалось 30 марта — день рождения. По стенам висели плакаты, гравюры с изображением монстров, выпускалась газета, делались фотосъёмки с переодеваниями и смешными эффектами. В программе вечеров всегда было чтение Володиных стихов, исполнение песен и частушек, сочинением которых он увлекался:

Я надена бело платье,
Кружевную мантию
И пойду искать работу
В Молодую Гвардию!

Раньше бил меня не раз
Мой милёнок с пьяных глаз,
Отменил Никита пьянство,
Пьяных нынче нет у нас!

МИНИСТРУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР

товарищу ЕЛЮТИНУ В.П.

Многоуважаемый Вячеслав Петрович!

Молодой художник Владимир Ковенацкий - будучи недостаточно осведомленным о профиле учебного заведения сдавал экзамен в институт им.Сурикова. Будучи несомненно очень одаренным граффиком и не имея живописной практики он неправильно поступил, сдавая экзамен в этот институт, который предъявляет повышенные требования к живописной стороне таланта поступающего.

Просмотрев большое количество его иллюстраций и рисунков, мы уверены, что видим перед собой художника с незаурядным композиционным даром, уже сейчас свободно оперирующим графическими средствами. Ему хорошо удается психологический образ изображаемых персонажей, и точное представление об ситуации изображаемых в иллюстрациях моментов. Просмотренные рисунки уже дают основание для работы в печати, в лучших наших издательствах, но в то же время ему, как молодому художнику, необходимо высшее образование и учеба под руководством хороших художников-профессоров.

Просим Вашего разрешения на прием, в порядке исключения, его в Полиграфический институт, учитывая исключительное дарование молодого художника графика.

Сорос
В. Кув-
Р. А.
П. А. Кув-
В. Кув-
Кув-

В последний раз на моей памяти Коля Устинов, Юра Рыжик и Борис Косульников веселились вместе, когда готовили выставку работ Володи для вечера его памяти 15 мая 1987г. Разбирая его старые работы, они словно вернулись в свою молодость.

После окончания школы Володя пытался поступить в Суриковский на графический факультет — не получилось. Тогда мама собрала наиболее интересные рисунки и пошла в журнал «Юность», где её очень хорошо приняли и составили письмо на имя министра Высшего образования СССР, с просьбой зачислить Володю на графический факультет Полиграфического института без экзаменов. Письмо подписали самые главные графики страны: В.Горяев, В.Фаворский, Б.Дехтерев, Е.Кибрик, Кукрыниксы. В общем, несмотря на то, что учебный год уже начался, Володю в институт приняли.

Ещё в школьные годы Володя страстно увлёкся поэзией, развитию этого увлечения способствовала стихотворная игра с друзьями, что-то вроде буриме, но несколько усовершенствованная. Один из партнеров задавал первую строчку, второй дописывал следующие три строчки, чтобы получилось четверостишие. Из наиболее удавшихся четверостиший составлялся альбом, к стихам делались уморительные иллюстрации. Эти альбомы имели фантастические названия: «Тырмлос», «Мопри», а сама игра называлась «стихотворный путч». Наиболее отличившиеся авторы получали почётное звание «путчмейстера».

Володя поэзию знал более широко, чем остальные, и с радостью знакомил друзей с творчеством малоизвестных тогда поэтов. Собственную поэзию Володя считал одной из ипостасей изобразительного искусства. Мама говорила: «Он рисует словами». К 18 годам стихов уже накопилось множество. Мама решила попробовать их опубликовать, собрала подборку и снова направилась в редакцию «Юности». Её принял Николай Старшинов. Стихи понравились, восторженные отзывы были и у всей литературной части. Но из подборки в 50 стихотворений напечатали только «Грузовик» и «Деревья» (в №5 за 1959г.). Фотографию не напечатали, о гонораре речь не шла. Однако дали задание написать стихи к юбилею ВЛКСМ. Володя, вполне тогда советский человек, загорелся. Написал стихи, которые начинались так:

Я не умею строчить к юбилею
Пышные вирши, где гром и труба,
Я свои строчки у сердца грею,
Быть трубачом — не моя судьба.

Надо ли говорить, что это не напечатали. Больше попыток опубликовать стихи не было. Кстати, Володя никогда не был комсомольцем. Как ему это удалось? Куда смотрела комсомольская организация школы? Института? Очевидно, недостойн был — двоечник и хулиган.

Своё жильё

Во время учёбы в институте (на третьем курсе) Володя стал обладателем отдельной комнаты в коммуналке, расположенной в одном из домов по Ленинградскому шоссе, которая досталась ему после смерти бабушки и деда. Началась богемная жизнь. Кто только не перебивал в этой комнате! Это было время, когда из ссылок и тюрем возвращалось огромное количество разношёрстной публики. Володю нетрудно было очаровать, и многие сомнительные личности находили у него пристанище, приводя в ужас маму.

Володя устроил у себя нечто вроде салона, стал известен в кругах художественной интеллигенции. Появилось множество новых друзей, в том числе Юрий Мамлеев, с которым они сошлись довольно близко. Возникла группа «сексуальные мистики», в которой Володя выполнял функции оформителя — издавал газету под названием «Вести с того света», развешивал по стенам своих монстров, и, конечно, исполнял на сборищах свои песни и баллады. Лев Кропивницкий об этом вспоминал так: «Реальное, даже натуралистичное, органично сочеталось <у Ковенацкого> с фантазией, парадоксом, абсурдом, — и рождался в высшей степени симпатичный гибрид». Много позже Эдмунд Иодковский заметил, что Мамлеев дал Володе свободу в изображении эзотерического. Конечно, «взаимовлияние обоих авторов несомненно» (как сказал И.Дудинский), однако гимн сексуальных мистиков, «Могилка моя» — сочинен Володей был в 14-летнем возрасте. Во всяком случае, еще в МСХШ он основал общество С.В.У. — «Скоро все умрём», на гербовом знаке которого значатся слова из этого гимна. Он таким родился, «адским Ковенацким» по выражению Генриха Сапгира.

В 1961 г. Володя женился. К сожалению, основным достоинством Володи в глазах молодой жены было наличие у него комнаты. «У него есть room» было начертано в одном из её писем, случайно попавшемся на глаза папе. Квартирный вопрос стоял тогда не менее остро, чем во времена Булгакова. Очень быстро жена обменяла Володину жилплощадь таким образом, что получила вторую комнату в той коммуналке, где жила сама с матерью и сестрой. Через год появился сын, а брак довольно скоро распался. Тут надо сказать, что Володя мало приспособлен был для семейной жизни. Жилое помещение становилось мастерской, образ жизни — ночной, бесконечные визиты друзей... В быту он был непряхотлив, но неаккуратен,



неудобен. Вот его собственная запись на эту тему: «Быт для меня является чем-то неприятным, навязанным, необязательным. Где-то в глубине души я считаю себя романтическим бродягой, которому ничего не нужно, который может питаться хлебом с сыром, как Ван Гог».

Развод Володя переживал тяжело, прежде всего потому, что был безумно привязан к сыну. Отношения с сыном были для него одним из постоянных источников страданий на протяжении всей жизни. Разумеется, комната после развода осталась сыну, и жильё

Володя потерял. К родителям вернуться было уже невозможно, мы из Лихобор перебрались в коммуналку — одну комнату на троих. Начался период скитаний по Москве. Об этом — рассказ «Ушиблен пропагандой» и многие другие.

Творческий процесс у Володи никогда не прерывался, если не рисовал, то что-то сочинял или предавался «культурно-историческим грёзам», в общем, взгляд — «немного отрешённый» всегда. Отсюда и байки о невероятной рассеянности: истории о том, как, входя в троллейбус, Володя снимает галоши, как при переезде друга на новую квартиру он чуть не ушёл в лес со шкафом на спине. Есть его запись о «культурно-исторических грёзах»: «Вдруг возникает страстное желание узнать, как жили, скажем, византийцы. Напихавшись материалом, начинаю грезить о том, как византийский акрит, вернувшись из похода, спит с красавицей женой, и как хорошо было бы быть на его месте. Эти грёзы — сильнейший наркотик, который употребляю с детства. Они носят иногда негативный характер, — допустим, вижу себя Верунгетериксом в римском плену и т.д.».

Ещё учась в институте, Володя начал интенсивно работать в книжных издательствах, редакциях журналов и газет. За короткий период им было оформлено 49 книг. На настоящее творчество оставались только ночи. Вообще, когда на Володю вешают клише диссидента — это не про него, не до этого ему было. Слишком поглощён он был своим искусством, у него была тяжёлая, наполненная непрерывным, кропотливым трудом жизнь художника-графика. Володя постоянно находился в поиске, изобретал техники резания офорта, составы грунтовок, по которым можно было резать...

Стихи, песни, часто весьма язвительного свойства, — это было в качестве отдыха, развлечения. При этом он с готовностью исполнял их в любой

аудитории, не заботясь о последствиях. В связи с этим можно вспомнить характерный эпизод. Летом 1980г. группу сотрудников НИИ, где я тогда работала, отправили в совхоз. По дороге, в автобусе, от совершенно незнакомого мне человека с гитарой я услышала: «Я — лётчик Люфтваффе», «Могилка моя», «Ленинский вальс». От изумления глаза у меня вылезли из орбит. Человек с гитарой, по-своему расценив моё внимание, воодушевился, продолжал дальше. Когда я обернулась, увидела, что автобус, только что полностью заполненный людьми, как будто опустел. Все, кроме нас двоих, услышав крамольные тексты, потихоньку перебрались в хвостовую часть. Такое действие оказывали на простой советский народ песни Володи. Когда я рассказала Володе эту историю, он расстроился, сказал, что вот из-за таких милых людей (человек с гитарой был из его прошлого окружения) он остался без работы. Но как могло быть иначе?

Произведения эти были талантливы, воспринимались на «ура», распространялись в записях. Такая вещь, как «Ленинский вальс», не могла остаться незамеченной определёнными органами. Это привело к тому, что двери редакций перед ним стали закрываться, зарабатывать в качестве официального художника становилось всё трудней. Володя хотел рисовать, а надо было добывать средства к существованию.

Фиктивные друзья и фиктивные жёны

Привыкший к чрезмерной опеке со стороны обожавшей его матери (и тяготившийся этой опекой), он комфортно чувствовал себя в качестве ведомого по жизни, при условии, что ведущий должен быть им любим и уважаем. Поэтому, когда некоторые функции менеджера при нём взял на себя Борис Кердимун, Володя принял это с готовностью. Володя сразу выделил его из общего числа знакомых, т.к. тянулся к людям мыслящим, с философским складом ума, словом, Борису было, чем его заинтересовать. Процесс обработки Володи, превращения его в другого человека — безвольного, закрытого, теряющего чувство юмора, не принадлежащего самому себе, начался не сразу, и тянулся на протяжении многих лет...

Постепенно он перестал общаться с прежними друзьями, с родителями и со мной тоже виделся всё реже, в основном по делу, или по большим праздникам. Жил на съёмных квартирах, всё больше времени проводил с Кердимуну, пока не поселился вместе с его семьёй. Не сразу стало понятно, что он шагу не может совершить самостоятельно. Во всяком случае, я впервые осознала, как далеко всё зашло, только когда в 1968 г. он не пришёл ко мне на свадьбу. Правда, в ЗАГС он приехал, подарил линогравюру «Единорог», сказал: «Травинка во рту — на счастье!» и ушёл, оставив меня в грусти и недоумении. Потом оказалось, что Борис не позво-

лил Володе присутствовать на свадьбе не то по идейным соображениям, не то по религиозным. Тогда всё это казалось просто нелепой шуткой.

Потом была ещё одна неудачная попытка Володи жениться, которая удивительным образом снова оказалась связанной с решением квартирного вопроса: как только куплена была квартира в жилищном кооперативе Союза художников, брак распался. В дальнейшем Володе пришлось жениться ещё дважды, уже для друзей, фиктивно, чтобы обеспечить московскую прописку сначала второй жене Бориса — Лене, а после отъезда Бориса жене Виктора Олсуфьева — Марине Гресь.

После развода со второй женой, в результате цепочки обменов, у Володи наконец снова было своё жильё — две комнаты в общей квартире в Казарменном переулке. Образовалась уже и мастерская, так что Володя мог нормально работать, заниматься станковой гравюрой в своей мастерской, и пропадал теперь там.

В то время Володя работал на студии «Диафильм», много занимался экслибрисом. Отношения с Борисом развивались — на диафильмах в качестве автора значится уже не один художник, а два: Ковенацкий и Кердимун. Не умеющий рисовать Кердимун становится членом Московского горкома художников. Володя с радостью давал себя использовать, т.к. безгранично, в силу цельности натуры, предан был другу.

Когда в 1973г., в связи с опубликованием подборки Володиных стихов в ФРГ работа на «Диафильме» прикрылась, начались поездки на Алтай, в глубинку, для оформления зданий школ, клубов, приходилось зарабатывать таким образом. На творчестве Володи эта халтура не могла не сказаться пагубно. Пока Володя был нужен Борису для добывания денег, он продолжал делать вид, что больше всего на свете ему необходимо хорошее настроение Володи, рассуждать о тонкой связи между ними. В их отношениях важную роль играло увлечение идеями Гюрджиева и Успенского, игрой в «учителей» и «учеников». Кердимун несомненно умело манипулировал философскими и оккультными идеями в своих целях.



Однако я думаю, для того, чтобы так распорядиться своей жизнью, надо было просто быть Владимиром Ковенацким, с его индивидуальными особенностями, его иерархией ценностей. Он сам, несомненно, обладал качествами тирана, деспота, недаром в молодости с маминой легкой руки, друзья звали его «аспидом». Преданные, готовые подчиняться люди казались ему пресными, недалёкими, интерес вызывали те, кто мог противостоять. Он искал отклика, взаимности там, где достичь этого было заведомо невозможно. Эту свою особенность, нередкую для юного возраста, он умудрился сохранить до конца, в этом смысле ему не удалось повзрослеть. Может быть, это было ещё одно проявление его «тоски по недосягаемому», которую отмечают все, кто интересуется его творчеством.

В то время (1972–1977 гг.) мы виделись с Володей редко. По праздникам, когда он бывал в ударе, казалось, что он в неплохой форме. Он всегда приносил маме новые стихи, и мы были в курсе новых работ (может быть, это было втайне от Бориса), обсуждать же Бориса, или его действия в нашем доме мы не могли, он этого не выносил. Когда мы виделись с Володей наедине у меня, или в Доме Художника на Кузнецком, куда он меня иногда приглашал, впечатление было совсем не такое, как за праздничным столом. Ясно было, что он страшно одинок, и нервы у него совсем расстроены. Помню ощущение надвигающейся беды и полной собственной беспомощности, невозможности что-либо изменить...

На холостом ходу (история болезни)

Весной 1978 г. Володя объявил, что собирается уехать в Штаты, просил маму дать разрешение. Разумеется, с этой стороны препятствий не было, всё уперлось в первую жену (оставалось ещё два года платить алименты). В то время она с сыном жила в Тбилиси, куда сорвалась, когда узнала о вторичной женитьбе Володи. Володя умолял её не отказывать в разрешении, была надежда, но последовал отказ, связанный, скорее всего, с тем, что, будучи гидом-переводчиком, она сотрудничала с ГБ и получила соответствующие указания. Впрочем, к тому времени Борис, очевидно, раздумал брать его с собой в Штаты. Зачем? Володя в неважном состоянии, требует внимания к себе. В творчестве — пик мастерства, но фантазия угасает, натура сломана. Маме по телефону Борис кричит: «Нет такого художника — Ковенацкого!» В общем, Володя больше не нужен, нужны работы, из которых Борис вывез всё, что пожелал. Больше всего обидно за серию «Лихоборы мои, Лихоборы», оторванную от родного Совка.

Описание болезни мало что может добавить к образу Володи (правда, он был очень кроткий больной, что всё-таки его как-то характеризует), но чтобы внести в этот вопрос ясность, приходится писать и о болезни.

Вскоре после отказа в разрешении на выезд у Володи произошел нервный срыв. Борис от него избавился легко, просто позвонил и сказал: «Заберите Вову». Забирать надо было с собственной Володиной жилплощади. Так Володя вернулся к родителям. Состояние его было ужасным: бесконечно повторяющиеся истерические припадки с битьём кулаками по голове, разорванной одеждой, разбитыми зеркалами, а в промежутках — рука, тянущаяся к телефону, чтобы позвонить Борису (пока он не уехал). Главной задачей было не дать возможности позвонить, если же ему это удавалось — можно представить, что он слышал в трубке, т.к. припадки возобновлялись с новой силой. Был калейдоскоп врачей, которые помочь не могли. В конце концов врачи уговорили положить его в Кащенко (осенью 1978 г.), где всех лечили одинаково — кололи аминазином, что и послужило основной причиной развития лекарственного паркинсонизма в дальнейшем.

После больницы припадки прекратились, но прием психотропных средств продолжался. Наступило шаткое равновесие, Борис уехал, Володя жил у родителей, начал ездить в мастерскую, возобновил работу. Правда, теперь это были натюрморты, трогательные пейзажи и увеличенные варианты прежних линогравюр «Тропа кентавров», «Игра дракончиков» в оригинальной технике. Эти работы производили странное впечатление: лица кентавров терялись среди травы, тщательно прорисованной, в общем, смотреть было больно, чувствовалось, что в нём что-то изменилось необратимо. Он сам писал в это время об оскудении творческой фантазии: «Там, где раньше был высокий купол, теперь — низкий потолок».

К весне 1984 г. он ослабел, развилось воспаление лёгких, способность двигаться полностью утратилась. Его поместили в психосоматическое отделение 67-й больницы — страшное место, где основным контингентом были «синяки» с «белочкой», и вообще бомжи (слова такого тогда не было, но бомжи — были). Но нас туда пускали, и, значит, была возможность спасти Володю.

Состояние его было ужасным. Он был недвижим, не мог есть, начались пролежни. Он уже не говорил, а шелестел, просил, чтобы не тревожили, дали умереть спокойно. Однако с пневмонией удалось справиться, и началась борьба с пролежнями. Тут необходимы были просто героические усилия, круглосуточно дежурившая у постели мама выбивалась из сил, я помогала, как могла. Когда Володя начал понемногу двигаться, стали поддаваться лечению и пролежни. Это было чудо материнской самоотверженности — Володя вернулся к жизни, но пролежни заживали еще очень долго и после выписки из больницы.

Когда летом 1984г. мы всей семьёй собрались на даче, казалось, к Володе вернулась жажда жизни. Своей мелко семенящей теперь походкой он добирался до леса и возвращался просветлённый, с букетиком цветов и трав, делал акварелью очень трогательные натюрморты и пейзажи. Мама звала его богом травы — каждая травинка прорисована была с такой любовью! Однако запаса энергии хватило, к сожалению, ненадолго. Диагноз к тому времени уже был поставлен — лекарственный паркинсонизм в акинетической форме (с потерей движения), но лечить его тогда у нас не умели. Замещающие препараты, которые ему помогали (потому и нет сомнений в правильности диагноза) надо было скрупулезно рассчитывать и сочетать с питанием. Вдруг он начал не просто ходить, а бегать, мы были счастливы, но длилось это недолго.

В общем, с переменным успехом, с самоотверженным уходом мамы, после вспышки 1984 г. прошло ещё два года. В феврале 1986-го — снова воспаление лёгких, полная потеря движения. На этот раз его увезли в Боткинскую, а затем в реанимацию института Сербского, куда маму уже не пускали. Уже позже я узнала, что эта реанимация — единственное место, куда берут безнадежных больных, испытывают на них новые препараты, и откуда живыми не выходят. Между тем болезнь протекала по известной схеме, начались пролежни, необходим был особый уход. Мама пыталась добиться, чтобы её пустили к нему, обивала пороги разных инстанций, каждый день ездила в больницу, писала Чазову, тогда министру здравоохранения, — тщетно. 25 мая всё было кончено. Причина смерти — общее заражение крови в результате пролежней.

Прошло более 20 лет со дня смерти Володи, но боль этой утраты по-прежнему со мной, и она не утихает, особенно в связи с трагическими обстоятельствами его кончины. Свою жизнь я прожила с ощущением, что его отняли у меня («его отняли у него самого», сказал Рьжик). Все мои попытки рассказать о нём, познакомить с его творчеством (публикации в «Огоньке», выставка 1990 г. в Тушино, книжка «Бредоград», публикации в газетах) продиктованы желанием вернуть его, хотя бы отчасти. Хочется надеяться, что предлагаемая книга, большинство стихов и рисунков в которой публикуются впервые, найдёт своего читателя.

Нора Григорьева-Ковенацкая



«Я весь — огромный штихель. . .»

Вспоминаю сырой и сумрачный полдень в начале марта 1960 года. Я только что отслушал лекцию по физиологии в 1-м Московском медицинском институте — как оказалось, мою последнюю лекцию в этом почтенном заведении — и выскочил покурить в скверик перед его угрюмыми корпусами. Ко мне тут же шагнул незнакомый молодой человек, очень серьёзный, плотный, большеголовый, чуть неуклюжий, но даже с виду крайне основательный, я бы даже сказал — медвежеватый; сходство с медведем дополнялось бурым пальтишком, явно служившим хозяину не первую и не вторую зиму. Я поразился тому, как безошибочно он высмотрел меня сквозь свои сильные очки в ораве прочих студентов-медиков и двинулся прямо в мою сторону, не сомневаясь и не колеблясь.

— Владимир Ковенацкий, — представился он, — доучиваюсь в Полиграфическом. Услышал про ваши стихи — и приехал познакомиться. Зашел в деканат, а там сказали, что вас — ха-ха! — отчислили за неуспеваемость. Да оно и к лучшему, правда ведь? Какой из вас врач, если вы только и знаете, что сонеты строчите.

Его мрачноватое, без тени улыбки прихихатывание — ха-ха! — выражало не злорадство и даже не добродушную усмешку — оно, как я потом не раз убеждался, звучало неким испытанным контрдоводом против всех бытовых неурядиц и бытийных драм: жизнь тебе кулачищем по морде, а ты ей — в самое хайло: ха-ха.

Всё это было произнесено на одном дыхании, и я как-то сразу понял, что в этом первом услышанном мной Володиным монологе просквозило что-то очень характерное для его доверчивой и безоглядно страстной натуры. Там, где другой ходил бы вокруг да около, примеривался, мялся и колебался, он разом брал быка за рога. Захотелось с кем-то познакомиться — чего ради откладывать это знакомство я долгий ящик? Выложить первому встречному всю правду-матку — чего ради говорить обиняками? Жизнь коротка — это он уразумел еще в юности.

Если бы теперь, по прошествии тридцати с лишним лет, мне нужно было одним словом обозначить жизненное и творческое кредо Ковенацкого, я сказал бы, что его девизом был глагол «успеть»: успеть познакомиться, познакомиться, увидеть, показать, поделиться и — самое главное — про-



«Я весь — огромный стихель...»

царапать хоть несколько штрихов на той «победной меди» — о которой писал ещё Гораций.

Ждёт резца прикосновения
Полированная медь,
До последнего мгновения
Только б, Господи, успеть...

так много позже писал Володя о своём творчестве, о времени, о Боге и, как бы в скобках, о себе.

А в тот сырой мартовский день он перехватил из одной руки в другую увесистую картонную папку с измочаленными тесёмками и сдвинул на ухо чёрный берет, тоже, между прочим, воспетый в его стихах.

— Послушайте, не махнуть ли нам в мой — ха-ха! — домашний музей? Прижизненный, историко-мемориальный, литературно-художественный комплекс лихоборского аборигена Владимира Ковенацкого? Боюсь, после смерти всю экспозицию растащат и пустят на самокрутки, так что пользуйтесь шансом. И кстати: не перейти ли нам на «ты»?

— А в Палеонтологическом музее ты бываешь? — неожиданно безо всяких предисловий спросил меня мой новый знакомый, когда мы, уже перейдя на «ты», вышли из метро на станции «Сокол» и пересели на троллейбус, идущий в сторону санатория «Лебедь». Я ещё не успел осмыслить всю мнимую многозначительность этой птичьей символики и потому некоторое время ошалело пялился на собеседника.

Что за пронизательность, чёрт возьми, что за ясновидение такое!

— Совсем недавно был, — проямлил я наконец, — в Нескучном саду, в церквушке этой, где чуть ли не от паперти до алтаря — скелет диплодока... Не церковь, и не музей даже, а драконье капище, кумирня допотопных монстров...

— Вот-вот, — подхватил Володя. — У меня такое чувство, что скоро они снова явятся в наш мир, а перед этим через третьи руки уже оборудовали себе храмину с мощами — ха-ха! — своих почтенных предков. Это такой народ — ничего не упустят.

Позднее я не раз задумывался, какую роль в Володиных композициях играют все эти чешуйчатые, криволапые, рогатые, но неизменно добродушные твари. Подобных ящеров, как известно, любил изображать на своих досках Иеронимус Босх, хотя в его время палеонтологии как науки не было и в помине. То ли они снились ему, то ли он видел их окаменевшие останки в тогдашних кунсткамерах. Важно другое — босховские чудища,

пожирающие друг друга или терзающие угодивших в преисподнюю грешников, — это воплощение хищных и ненасытных страстей, с которыми человек остается один на один за порогом смерти. А Володины трицератопсы, бронтозавры, ихтиостеги мирно играют на неудобных, обесчеловеченных пустырях Лихобор, как бы не замечая спящих вокруг алкашей, карманников, милиционеров. Это, как мне кажется, и воспоминание о до-человеческом рае, о не испакощенном людьми заповеднике исполинских папоротников, хвощей, араукарий, и напоминание о неизбежной и скорой расплате за надругательство над живой сутью космоса и человека: кольцо времен смыкается, гнилые Лихоборские бараки вот-вот рухнут — и на их месте снова зазеленеет первобытный лес, замычат и заревут ящерки размером с крокодила, лягушки ростом со слона...

А может быть, все эти ожившие экспонаты капища в Нескучном саду — всего лишь плод белой горячки замордованного, сбитого с панталыку интеллигента: вот стоит на одной из гравюр Ковенацкого, прислонясь к бревну, подпирающему стены старого домишки, — совсем одинокий, неприкаянный, полупьяный, — а за его спиной резвится парочка рогатых и хвостатых любовников... Может быть, и так; ведь подлинное искусство тем и отличается от ремесленной поделки, что оно многогранно, по сути своей бездонно и при желании поддается любым, подчас взаимоисключающим толкованиям...

Володин «музей» оказался просто-напросто комнатой в типичной коммуналке, где по вечерам перебравшие лишку соседи убивают друг друга пустыми бутылками, воскресают, бегут за добавкой, поют, вешаются в туалете, немилосердно гремя при этом корытами и тазами, а под утро воскресают снова и, как ни в чем ни бывало, топают по своим делам. Изрядная часть гравюрных листов и рисунков, составлявших экспозицию «музея», была дотошной летописью этих фантастических будней и праздников московской окраины.

При первом же беглом осмотре «прижизненного мемориала» меня поразила — и не переставала поражать никогда — Володина тяга к изнанке мира, роднившая его — не побоюсь громких сравнений — с Гойей и Достоевским, Бодлером и Лотреамоном. Он видит своих героев не со стороны, они вхожи в его мемориал, они каким-то необъяснимым чутьем угадывают в этом странном очкарике родственную душу. Сколько жалких и трагических типажей увековечено в его стихах, на его гравюрах! Сколько подспудных, фантастических черт высмотрел в них художник! Вот приёмщики посуды, «властители некрополей стеклянных, медлительные призраки похмелья, бесстрастные, как вечный Судия». Вот сборщики утиля, «косма-

«Я весь — огромный штихель...»

тый Яшка с Нюркою рябой», и Нюркин родитель, «ветхий дед Гасенкин». Вот хворый старик дядя Кеша, у которого «среди седины на желтой плещи однажды вишня проросла...»

Эта вишня, растущая из человеческого темени, конечно же, не менее символична, чем любая другая, только с виду нелепая и неожиданная деталь Володиных произведений. В ней соединилась и мечта о возвращённой молодости, которая «шумит фонтанчиком зеленым», и чисто русская надежда разбогатеть, не ударив палец о палец, по шучьему велению, и, наконец, пародия на приёмы тантра-йоги, благодаря которым таинственная змея Кундалины, дремлющая где-то в глубине человеческих телес, раскручивается, ползёт вверх по хребту и взмывает ввысь, пробуравив теменные кости.

Забегая далеко вперед, скажу, что Володя уже в те годы был неравнодушен ко всякого рода эзотерическим, мистическим и оккультным учениям, ставшим теперь всеобщим поветрием. Он читал подпольно переведённого Гурджиева, одобрительно хмыкая всякий раз, когда Георгий Иванович начинал свою любимую песню об изначальной механичности, заданности, «заспанности» человеческой природы, о том, что это бессмертие даруется не всем, а только сумевшим стряхнуть с себя эту сонную одурь. Я подсовывал ему Рене Генона, провозвестника Изначальной традиции, священного знания, дошедшего до нас от предадамических эпох, — Володя и тут прихахатывал: а не получится ли так, что этого твоего любимчика начнут — ха-ха! — проходить в средней и высшей школе, цитировать к месту и не к месту, как дедушку Ленина или Великого Кормчего?

— Ну что ты, Володя, — с жаром возражал я, — это мыслитель элитарный, вульгаризации не поддающийся...

— Поживем — увидим, — хмыкал мой собеседник, продолжая вглядываться в фантазмагорию советской действительности, ещё не облагороженной идеями каирского отшельника.

В этой действительности он подмечал такие штрихи, от которых безразлично отворачивались другие, менее зоркие и мужественные художники. Он ничем не хотел потрогать зрителя, напротиться на его похвалу. Его искусство — грубое, мужское, я бы даже сказал — мужицкое, как у Брейгеля-старшего.

Помню графический лист, по которому вкривь и вкось расползаются на плоских самодельных тележках ветераны победоносной войны — полупьяные обрубки в прожжённых ватниках и ушанках из рыбьей меху. Такие фигуры, кстати сказать, часто встречаются у Босха и того же Брейгеля. Но Володины калеки отпихиваются от земли не руками, а утюгами, как бы припечатывая её, прижигая каленым железом за то, что она вовремя не

приняла их в своё немилосердное лоно. Так было и в действительности, но ведь никому из тех, кто видел эти жуткие гибриды человека с шарикоподшипниками и утюгами, не пришло в голову запечатлеть их на холсте или гравюрной диске, процарапать на «победной бронзе».

Не только этот, но и многие другие образы и темы Ковенацкого перекликаются с мотивами позднеготического искусства, с приёмами старых мастеров Германии и Нидерландов. Итальянское Возрождение не задевало Володю за живое, а вот хорошая репродукция дюреровского «Носорога» сопровождала его во всех переездах, я постоянно видел её над рабочим столом художника. Уж не чувствовал ли он родственную душу и в этом козявом пленном чудище? Босх и Брейгель, Дюрер и Гольбейн подкупили его своим интересом к изнанке жизни, сопряжением повседневного и вечного, трагического и комического. Но при всём том он всегда оставался совершенно самостоятельным в построении композиции, подборе деталей и реалий, создании атмосферы каждого листа.

Плагиаторы вызывали у него не то чтобы раздражение или грубую насмешку, а странную смесь жалости и брезгливости, чувств, в общем, ему не свойственных.

— Так-так, — бурчал Володя, увидев на очередной манежной выставке картину «Смерть партизана», — всё понятно: виселица срисована у Брейгеля, пластилиновый труп партизана — пародия на тело Христа со знаменитой картины ван дер Вейдена, а вон та — ха-ха! — барышня-крестьянка в синем сарафане явно похищена у Галины Серебряковой. Семь лет исправительно-трудовых работ, господин живописец! Чем вы лучше Синявского и Даниэля? Сарафан украли! Нехорошо-с! К тому же чувствуется высшее образование и общая культура, знакомство с растленными приёмчиками мирьискусников: за это еще пять лет ссылки в запасники Худфонда.

А в какой восторг привело его издание «Айвенго» с рыцарем в доспехах XVI века на обложке!

— Нет, ты только посмотри, — восклицал он, — да это же всё равно что обрядить петровских стрельцов в гимнастёрки и дать им в руки вместо бердышей автоматы ППШ!

Сам Ковенацкий не грешил ни эклектикой, ни лжеэрудицией: все детали его книжных и журнальных иллюстраций — а он зарабатывал свой хлеб именно в этой области — тщательно выверены по специальным изданиям и оживлены его собственным врожденным талантом. Он просто не мог себе позволить, к примеру, путаницу в китайских династиях; если это эпоха Мин, в неё нельзя совать керамику и бронзу династии Хань. Если ты рисуешь канадского дровосека, то и топор у него должен быть канадский —

«Я весь — огромный штихель...»

с длинным, прямым топорщиком и вытянутым лезвием: предками этого мирного орудия были боевые топоры европейского средневековья.

Вскользь упомянув китайские реалии, я поймал себя на мысли о том, что культура и духовный строй Китая и Японии вызывали особый интерес Ковенацкого. В его отношении к искусству, истории, быту этих стран было нечто глубоко личное, совершенно необъяснимое с точки зрения чисто эстетических пристрастий, хотя и они были налицо. В первый же вечер нашего знакомства, закончив осмотр «музея», мы сидели за бутылкой тошнотворно сладкого «Кюрдамира» и толковали о китайской поэзии. Я прочел ему строфу из своего «Одиночества»:

Когда-то вы вместе на фениксах мчались крылатых,
Вы были друзьями, поэты: Ли Бо и Ду Фу,
И даже теперь, в коленкоровых липких халатах,
Томитесь бок-о-бок в каком-нибудь пыльном шкафу...

Володя тут же подхватил эту тему и, посмотрев за окно, где уже появилась мартовская «луна в тумане», процитировал зачин моего любимого стихотворения Ли Бо «Под луной одиноко пью...»

— А не кажется ли тебе, — продолжал мой хозяин, — что в этот самый миг какие-нибудь недобитые пекинские интеллигенты вроде нас с тобой сидят за бутылкой вина «Фея озера Ло» и декламируют строки про луну и тень, заодно потешаясь над виршами Великого Кормчего? Я уверен, что так оно и есть, ведь культура — это что-то вроде подземной грибницы. Шляпки можно подрезать вместе с головками, но пока грибница не перекопана на сотню чи вглубь, мы — здесь ли, в Китае ли — рано или поздно вылезем на поверхность.

Так оно и случилось: мы вылезли на поверхность — кто вживе, кто, как Володя, окончательно перевоплотившись в свои гравюрные листы, акварели, стихи, рассказы. Утешительно сознавать, что все плотское, материальное, «реальное» в человеке в конце концов становится прахом, а вот зыбкая, субъективная, сотканная из снов материя искусства переживает нас и мало-помалу срастается с другими волокнами Великой Подземной Грибницы — недаром в древнем Китае волшебный гриб линчжи считался символом бессмертия.

Итогом этого разговора оказался экслибрис «Из китайской поэзии Юрия Стефанова», который Володя вырезал через несколько дней и преподнёс мне при следующей встрече: на нём изображён Ли Бо, протягивающий чашу с вином собутельнице-луне...

Тема Японии переживалась Ковенацким более трагично и — чисто в этимологическом смысле этого слова — более проникновенно. Все мы горды восторгаться садами камней и символикой икебаны, но кто, подобно Володе, мог бы написать «Песню японских военнопленных», в которой ставится знак равенства между судьбой собственной страны, превращённой в сплошной концлагерь, и участью воинов Микадо, медленно умирающих за колючей проволокой в проклятых Лихоборах, за тысячи километров от Японии? Здесь на ум невольно приходит Куприн с его «Штабскапитаном Рыбниковым», вещь, совершенно немислимой в наше время тотальной ненависти и добровольного озверения... Если же отвлечься не только от «политической» смелости поэта, но и от гуманистических аспектов его «Песни» («милость к падшим призывал»), то окажется, что это произведение, как, впрочем, и всё его творчество, одухотворено принципами цзэн-буддизма, согласно которым познание немисливо вне полного слияния, отождествления субъекта и объекта. Проще говоря, Володя и на этот раз не описывает явление со стороны, а как бы перевоплощается в пленного японского самурая, смотрит на мир его глазами.

Такая проникновенность — редчайший дар почти мистического свойства, не идущий ни в какое сравнение с обычной зоркостью художника, подмечающего любую мало-мальски броскую деталь, особенно экзотическую, непривычную, но неспособного отыскать её соответствие в собственной душе... Володя, как мне кажется, мог бы повторить слова Ван Гога: «Я не нуждаюсь в японском искусстве, так как твержу себе, что здесь я нахожусь в Японии и мне, следовательно, остаётся лишь раскрыть глаза и брать то, что лежит передо мной».

Именно так и поступал Владимир Ковенацкий. В коротенькой статье не перечислить всех примеров этого «японского взгляда» на мир, ограничусь одним.

Взять, скажем, «Пляску смерти». Этот иконографический мотив появился в европейском искусстве на исходе средневековья, после Великой чумы 1380 года.

Володе, несомненно, были известны изображения «Пляски смерти» на гравюрах Гольбейна, на алтарном образе из Ревеля, который в своё время экспонировался в Москве, на фреске пизанского кладбища Кампо Санто, да мало ли ещё где. Но в его работах, изображающих встречу живого с мёртвым, и в помине нет заимствований, цитат, крошек с чужого стола. Средневековый живописец, ренессансный гравёр отражали умонастроения и быт своей эпохи: вот кавалькада рыцарей, зажимающих носы от нестерпимого смрада гниющих трупов, вот скелет под ручку со знатной да-

«Я весь — огромный стихель...»

мой... На гравюрах Ковенацкого Смерть, представленная скелетом в лихо заломленной кепчонке, распивает «на троих» в компании двух алкашей на фоне унылого забора, за которым дымит заводская труба, а быть может, труба крематория. Не исключено, впрочем, что эти заблудыги уже оказались в царстве Смерти и она щедро делится с ними напитком забвения. Ещё один скелет, на этот раз в солдатской ушанке, протягивает воздушный шарик ребёнку — уж не встреча ли это погибшего на войне солдата со своим сыном? Скелет за спиной полудохлого архивариуса или какой-нибудь «музейной крысы»... Скелет в глубоком немецком шлеме за плечом самого художника, совсем молодого, беспомощного, с безумно расширенными зрачками...

Такого рода сюрреалистические композиции таят в себе, в конечном счёте, куда больше жизненной правды, чем дотошные штудии так называемых соцреалистов. Вся поэтика Владимира Ковенацкого основана не на слепом копировании действительности, а на поисках её первооснов, её подспудной сути, её абсурдного, алогичного ядра. Тот «извилистый поток воображенья», о котором он говорил в своих стихах, был для него средством пробиться сквозь обманчивую видимость вещей, расколоть их лакированную или тусклую скорлупу, открыть для себя и для других как можно больше правды о мировом зле и мировой боли. В воображении, во сне навещают его «лиловый конь» и «человек с головой коня» — символы предельной напряжённости творческого сознания, стремящегося преодолеть двойственность жизни и смерти, дня и ночи, разума и безумия.

Смерть в понимании Ковенацкого — не противница жизни, а её оборотная сторона, реверс, который на поверку оказывается значительней и ценней аверса. «Дорога в никуда», пролегающая по многим его стихам, страшна и мучительна, но в конце её «два викинга в чешуйчатой броне, философ Ницше и писатель Гоголь»: они встретят художника, как встретили в свой час одного из его друзей, «последнего мага земли», старика Деметриуса Лонго, о котором я ещё скажу несколько слов. Не смерти надо бояться, а мертвечины, олицетворенной в поэзии, прозе и графике Ковенацкого городом Бредоградом.

Бредоград — это мировое дно, последний круг преисподней, который, как все мы помним, именовался «страной победившего социализма», «надеждой человечества» и так далее, и так далее. К стыду своему должен сознаться, что я, отнюдь не отравленный коммунистической пропагандой, слепо — или свято — верил в конечную победу коммунизма, потому что меня убеждал в этом мой куцый каждодневный опыт; вчера мы «освободили» пол-Европы, сегодня — Кубу, завтра... По-иному, при всей его

мрачности, смотрел на вещи Володя. Когда в августе 91-го газеты опубликовали снимки памятника Дзержинскому с петлей на чугунной шее, мне тут же вспомнились пророческие строки:

Верёвка ждёт Чудовище
И всех его друзей.
Внутри его становища
Устроим им музей.

Музей пока ещё только планируется, но чудовище и впрямь дождалось позорной петли, Бредоград ещё не стал «Градом Божиим», но его стены рухнули в одночасье, словно стены древнего Иерихона. Владимир Ковенацкий не был «иерихонской трубой», а всего лишь самоучкой-шаманом, отбивающим на кем-то подаренном ему бубне магическую мелодию, от которой шарахается всяческая нечисть.

Он никогда не декламировал свои стихи, а пел или, точнее говоря, речитировал их, отбивая такт на чём придется: на столешнице, подоконнике, а позже — на только что упомянутом бубне. К тому времени он отращил себе роскошную, волнистую, с медным отливом бороду, делавшую его похожим то ли на ассирийского царя, то ли на греческого рапсода. В отличие от тогдашних доморощенных бардов, расплодившихся по всем коммуналкам, он не потакал вкусам публики, не пользовался её убогим лексиконом. И не показывал начальству фигу в кармане, а со всей прямоотой называл вещи их именами. Кто из моих сверстников, знавших Володю, не помнит его «Ленинский вальс», написанный по свежим следам трагической Пражской осени 68-го года? Сколько боли и яда, сколько отчаяния и надежды в этой песне, тут же выученной наизусть десятками, если не сотнями людей, ставшей анонимной, почти народной!

По брусчатке едут танки,
Тягачи ревут,
Твои бранные останки
Свято стерегут.

Здесь в одной строфе состыкована брусчатка Красной площади, оглашённой рёвом октябрьского шабаша, с мостовыми Пражского града, по которым ползёт не ведающее о своей скорой гибели бронированное Чудовище, — Чудовище, чьё брненное человеческое воплощение всё ещё исходит неутолённой инфернальной злобой в подземелье щусевского зиккурата.

«Я весь — огромный штихель...»

Сочетание трагизма и гротеска, священнодействия и балагана было характерно не только для графики Владимира Ковенацкого, но и для его, так сказать, «народно-песенного» творчества. Несколько лет назад в журнале «Огонёк» были опубликованы образцы неподцензурных частушек советского времени, все они подавались как чистый фольклор. Прочтя эту подборку, я испытал смешанное чувство гордости и горечи. Гордости за то, что хотя бы некоторые Володины частушки — а он создал их великое множество — стали народным достоянием, горечи за то, что составители публикации не потрудились докопаться до их авторства. Темы озорных куплетов Ковенацкого самые разные, но в своей совокупности они складываются в некую мозаику, отражающую быт, политические события, интересы и мифы того времени, в которое он жил. Здесь и отклики на китайскую культурную революцию, и рассказы о неопознанных летающих объектах, и подтрунивание над достижениями советской космонавтики — всего не перечислить.

...Художник, поэт, шаман, частушечник — этими ипостасями отнюдь не исчерпывалась творческая личность Владимира Ковенацкого. Здесь мне так и хочется срифмовать слово «сказитель» со словом «даритель»: последнее шире, оно покрывает своим смыслом не только отдельные стороны Володиной природы, но и всю её целиком.

Володя был необычайно, неправдоподобно щедр. Оттиски гравюр, а то и акварели раздаривались направо и налево, без счёту и оглядки, кто сколько пожелает.

Если же оттиски окончательно иссякали, мастер приглашал всех желающих собственноручно заняться их печатью. У меня, признаться, не хватало терпения, оттиски получались непропечёнными, и тогда автор, мрачновато прихахатывая, отправлял их в мусорное ведро и брался за работу сам, вознаграждая себя только тем, что ставил на листе надпись по-французски: «Tiree a la main», то есть «отпечатано от руки».

Дарил он не только свои произведения, но и своих друзей, своих знакомых, занимаясь чем-то вроде взаимообмена человеческими душами, — взаимообмена, выгодного, надеюсь, для всех трёх сторон. Ему, в частности, я обязан встречей с упомянутым выше «старым магом» Лонго, обитавшим в огромной подвальной комнате на теперешней Никольской улице в компании ручного удава и полудюжины несушек, чьи яички, надо думать, составляли основу его отшельнического рациона.

В подвале стоял роскошный диван — нет, не диван, а целый дворец из «Тысячи и Одной ночи» — исполинское сооружение с башневидными шкапами по бокам; по их резным дверцам скакали сасанидские цари

с кречетами в клубуках на поднятых к небу запястьях, преследуя воспетых Гумилевым газелей, метали копья вдогонку свирепо рыкающим львам или сосали кальяны, сидя на узорных мутаках, венчающих низкие разлапистые троны. Булькал кальяном и сам хозяин, рассказывая о своих путешествиях по Востоку или о сеансах белой магии в Царском Селе, в присутствии членов Императорской фамилии. Ему нельзя было не верить — почти каждая словесная деталь его рассказов подкреплялась какой-нибудь деталью вещественной, по ходу дела извлекавшейся из недр дивана-дворца. Именно Лонго уступил Володе знаменитый японский нож, позднее украденный у него неким проходимцем и воспетый — воскрешенным! — в лучшем из стихотворений моего друга. Мне Лонго предложил ещё большую редкость — ритуальный тибетский кинжал «пурбу», но у меня не было и намека на «полтораста старыми деньгами», которые смог наскрести Володя для покупки своего «потемневшего ножа в изящных ножнах из змеиной кожи...»

Благодаря Ковенацкому я имел честь познакомиться с такими небезызвестными теперь людьми, как Александр Харитонов, Олег Целков, Алексей Смирнов, Юрий Мамлеев, Михаил Гробман, Лев Кропивницкий... Все они были по-своему талантливы и неповторимы, но ни один из них не обладал той цельностью характера и детской чистотой души, как он сам.

Нельзя сказать, чтобы он не пил, — прикладывался, и очень даже охотно, правда, больше в стихах, чем в жизни. Во всяком случае, проведя вместе с ним немало часов за рюмкой и дружеской беседой, я никогда не видел его не то что пьяным, а даже, грубо говоря, поддатым. Никогда не слышал от него слова, оскверняющего уста говорящего: к кому, как не к Володе, приложимо евангельское изречение о том, что «добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое»? Он страдал не хмельными, а творческими запоями, которые почти без перерывов длились всю его не очень-то долгую жизнь...

Когда, бывало, ни придешь к нему, видишь почти одну и ту же картину: мастер сидит за рабочим столом, набычившийся, густобородый, лобастый, похожий одновременно на весь свой бестиарий, на всех зверей, которых он так любил изображать. С одного боку посмотришь — медведь медведем, с другого — Овен, баран, стоит только мысленно приставить к вискам ребристые, туго закрученные рога, ну а с третьей — огромный кот, старший брат того мурлыки, что неизменно тёрся у его ног. Сидит весь этот зверинец за столом и водит штихелем по доске, извлекая, высвобождая из небытия очередной проблеск жизни или зияние смерти: ведь небытие и смерть — это вовсе не одно и то же. Рядом с ним, с демиургом в стоптанных шлёпанцах, дымится стакан чаю. Я подхожу, глядявваюсь

«Я весь — огромный штихель...»

в ещё не законченную работу. Не видя оттиска на бумаге, нелегко вот так, с налету, разобрать «черты и грёзы» на рыжеватом, под цвет Володиной бороды, пласте линолеума.

— Да ты поверни к свету, вот так, — советует мне хозяин.

Сощуриив глаза, я вижу, как тени, падающие на дно желобков, прорезанных в упругом материале, складываются в чёткую картину: на валике для типографской краски восседает длиннобородый человечек в сильных очках, вместо носа у него — стальной погнутый резец, штихель, любимое Володино орудие. Седая борода, огромный лысый лоб и лёгкая усмешка делают человечка похожим на бессмертных даосских мудрецов.

— А на меня он смахивает? — интересуется Володя.

— Нисколько, — отвечаю я, — нет в тебе такой благодности, да и лысины пока не замечается.

...Теперь, через много-много лет после той встречи, мне начинает казаться, что именно так выглядел бы художник и поэт Владимир Ковенацкий, доживи он до глубокой старости, — мастер, сросшийся со своим инструментом, доверчивый и мудрый лихоборский даос.

январь–февраль 1994

Юрий Стефанов

О Владимире Ковенацком

1962 год. «Подпольная» выставка моей живописи для узкого круга ценителей. Мне передают альбом с графикой молодого, неизвестного для меня художника. В то время я был всецело увлечён абстрактной живописью, однако графические работы, находившиеся в альбоме, меня буквально поразили. Уже не говоря о безупречном владении рисунком, странные мистические персонажи, необыкновенные ситуации, очень индивидуальная экспрессивная деформация сразу ввели меня в особый, вновь открытый мир. Автором рисунков был удивительный человек — художник и поэт Володя Ковенацкий. Надо ли говорить о том, что мы сразу подружились.

Незадолго до этого я познакомился с интереснейшим писателем Юрой Мамлеевым, возглавлявшим литературную группу «Секта сексуальных мистиков», в которую в то время входил и Володя. Однако если Мамлеев представлял в ней начало серьезного, «чёрного» отношения к окружающей реальности (он писал в основном прозу), то в рисунках и стихах Ковенацкого при всей их мистичности, и даже трагичности, всегда просматривался очень привлекательный иронический подтекст. Реальное, даже натуралистичное, органично сочеталось с фантазией, парадоксом, абсурдом, — и рождался в высшей степени симпатичный гибрид. Конечно, часто это был смех сквозь слёзы, и, при никогда не изменявшем ему чувстве юмора, его работы были глубоко философскими, со своим, думаю, неповторимым, мировосприятием. Они были глубокими и многоплановыми, и людям, способным войти в этот открытый Володи мир, давали нечто значительно большее, чем обычная «информация», получаемая от восприятия искусства. А читателей и зрителей было достаточно.

Я тогда жил в Царицыне. И каждую субботу — приёмный день, — приезжало множество народу. Художники, поэты, просто любители искусства, физики, в то время почему-то считавшие себя причастными к авангарду в искусстве. Появлялось много иностранцев, что тогда расценивалось почти как криминал. Но всё шло своим чередом. Каждую неделю приезжали и «сексуальные мистики» — Мамлеев, Ковенацкий и их юные тогда ученики и поклонники. Смотрели картины, читали стихи и прозу, пели хором — тексты песен и подбор мелодии принадлежали Ковенацкому. Думаю, что этот интересный период продолжался года три. Затем группа разбрелась, Володя изредка приезжал уже один, пел свои новые песни. Мне кажется, что период начала 60-х годов в творчестве Володи был самым интересным

О Владимире Ковенацком

и наиболее выражающим его, как художника и поэта. Рисункам, а особенно линогравюрам была свойственна лапидарность, экспрессия, стихи часто тоже были лаконичны — иногда лишь одна строфа. И по сей день со мной его такие, скажем, гениальные строки:

Я ненавижу слово мы,
Я слышу в нём мычанье стада,
Безмолвье жуткое тюрьмы
И гром военного парада.

Лев Кропивницкий

От составителя

Книга практически полностью сделана на основе архива, хранящегося у сестры Владимира Ковенацкого, Норы Григорьевой. Составителю удалось ознакомиться с более чем 350-ю текстами стихотворений, из которых около 200 вошли в эту книгу, и с огромным количеством графического материала, из которого в книгу попало лишь чуть более 100 рисунков и гравюр.

Структура книги, её альбомный характер, когда изображение и текст довольно прихотливо чередуются, во многом определяется самим способом существования Владимира Ковенацкого, поэтическая и изобразительная составляющие творчества которого были органически связаны. При этом ни в коем случае нельзя рассматривать графические работы, воспроизводимые в книге, в качестве иллюстраций к стихотворениям, — все они, как правило, имеют самостоятельное художественное значение. Скорее, составитель надеялся, что, вступая в своеобразный диалог, а порою и в противостояние, поэзия и изобразительное искусство смогут полнее выявить эту органику творчества Ковенацкого.

Какого-то итогового корпуса стихотворений, отобранного для публикации (даже «самиздатовской») самим автором, судя по имеющимся материалам, не существует. С определённой осторожностью можно говорить о попытках Владимира Ковенацкого завершать какие-то этапы своего творческого развития сборниками стихов, написанных «за отчётный период».

Так, ранние тексты (по 1961 год включительно) сведены в два блокнота, названные «Дебри» и «Новые стихи». В блокноте 1963 года имеются 25 других — видимо, написанных за истекшие два года, стихотворений, проиллюстрированных автором. В зелёной тетради, относящейся, скорее всего, к концу 60-х годов, находим следы работы над очередным сборником, частично пересекающимся с предыдущим. Однако работа над ним явно не была закончена — оставлены пустые страницы, многие стихотворения обозначены лишь названиями. Ещё одна попытка набросать содержание гипотетического сборника была предпринята Ковенацким в начале 70-х годов в розовой тетради (упомянуто 29 стихотворений, некоторые из них имеются также и в зелёной тетради), но и она не была завершена.

Многие отобранные для публикации тексты были выверены именно по стихотворным автографам в упомянутых блокнотах и тетрадях — в оглавлении они приводятся без пометок. Значительное количество стихотворений, однако, вообще присутствуют в данном архиве только в виде неавто-

ризованной машинописи (помечены в оглавлении звёздочкой). И, наконец, некоторые стихотворения отсутствуют даже в машинописном варианте — они записаны по памяти друзьями Владимира Ковенацкого (помечены двумя звёздочками). Датировки у стихотворений в подавляющем числе случаев отсутствуют, и время их создания можно определить только предположительно, иногда с разбросом в 3–5 лет.

В силу вышеизложенного трудно определить окончательный авторский вариант стихотворения, когда имеются разночтения. С другой стороны, эти разночтения не имеют самостоятельного значения, поэтому нет особого смысла их приводить.

Многие стихотворения Владимира Ковенацкого исполнялись автором и его друзьями на мотивы советских песен, и, по-видимому, сразу на них и писались. Так, стихотворение «Про дядю Кешу» исполнялось на мотив песни из кинофильма «Весна на Заречной улице», «Песня про упырей» — на мотив «Шёл отряд по берегу...» и т.д. Полное перечисление соответствий текстов Ковенацкого определённым мелодиям заняло бы довольно много места и здесь не приводится.

Отрывки из поэмы «Антон Енисеев» публикуются по черновым записям — полный текст поэмы в архиве Норы Григорьевой отсутствует (возможно, он вообще утрачен). О поэме же «Лихоборская ночь» (см. стихотворение на с. 141) никаких достоверных данных не имеется — похоже, такой поэмы никогда и не существовало.

Прозаические мемуары «Чёрное и белое», публикуемые в книге, представляют собой компиляцию текстов, написанных Владимиром Ковенацким в разные годы. В основу положен первоначальный вариант 1961 года.

Оригиналы некоторых графических работ Ковенацкого в архиве его сестры отсутствуют (см. перечень иллюстраций). В этих случаях использовалась их электронная версия (<http://www.kovenatsky.ru/exhibitions/1985/>) из каталога выставки «Графика Владимира Ковенацкого» (Нью-Йорк, 1985 год). Возможности обработки изображения при этом, конечно, существенно ограничивались, что могло сказаться на качестве.

К сожалению, несмотря на письменное согласие родственников, не удалось получить доступ к находящимся в ЦАЛК ГАУ Москвы материалам Эдмунда Иодковского, близко знавшего Владимира Ковенацкого. Отказ директора этого архива г-жи Л.И.Смирновой был мотивирован тем, что она не может предоставить возможность работать с неразобранными материалами (архив Иодковского был передан на хранение в 1994 году). Между тем, по имеющейся информации, в этом архиве могут иметься тексты, неизвестные составителю...

Тексты

В. Ковенацкий, поэт и художник 5

I

О человеке, воспарившем над толпой 8
*Деревья 9
В тихом омуте водятся черти... 10
Гроза 11
Олень 13
*Смерть оленя 13
Повис багровый лунный круг... 14
Дебри 15
*Метель 16
*Я ночами летаю над городом... 17
Дорога в Никуда 18
*Сон 20
Отчаяние 21
Неудача 21
*Горы Каф 22
Отплытие Синдбада 23
*Песня мореходов 24
*Острова мечты 25
*Аппендицит 25
*Шествие в красных колпаках 26
*Песня о жемчужной стране 26
Задавили 28
*Было всё кошмарно и сурово... 29
*Песня ночного города 31
Ночной город 31
*Колыбельная песня 32
Неуютно, тоскливо и гадко... 33
Я шёл без дороги и знака... 34
Солдатами ночи расстрелян закат... 35
Песни из драмы «Бредоград» 36

II

Простой и великий 45
Я ехал в автобусе смрадном... 45
Явились ночью. Подняли с постели... 46
Мой друг приехал из Норильска... 47
*Ленинский вальс 48
*В музее 49
Псевдонародная песня 50
Война и мир 51
Нашествие 52
*Монголы 52
Каменная баба 53
*Песня о жёлтой опасности 54
Кирасиры 55
*Солдат 56
Военный марш 57
*Пулемётчик 58
*Атака 59
*Солдатской тёмною судьбою... 60
*Баллада о двух солдатах 61
Хлопнул выстрел одинокий... 62

III

*Мальчик рос, глазами хлопал... 64
Залив птерадонов 66
На острове 67
Суровая молитва идиота... 67
Плутон 68
Песня зазывалы 69
*Триада сонетов 70
Музей 72
*Стояли скалы, точно обелиски... 73
Новый Иерусалим 74
Стояли на стоянке три кентавра... 74
За окном вокзальной столовой... 76
Мышеград 77
Странные и с виду очень разные... 79
Опять под сводами вокзала... 80

*Кряхтели и покашливали в зале... 83
Придя в себя, надевши фрак... 83
Грузовик 84
*Всадник 85
Голубой зверь 86
*Идиот 87
*Трое над рекой 88
Худую плоскость починив... 89
*Старички с крысами 90
*Ночной гад 91
Безголовый сосед 92
От лунного восхода... 93
*Сонет о чугунном шаре 95
Ночлег 95
Баллада о злодеях 96
*Собрались на поляне бандиты... 97
Бывший разбойник 97
*Ночная охота 98
Заседание 100
Хоровой кружок 101
*Песня упыря 102
Песня про упырей 103
*Песнь о диване 104
*Волшебное пальто 104
Карл Иванович 105
Синий слон 106
Про дядю Кешу 107
*Марсиане 108
Марсианин 108
*Марсианка 111
**Мы идём дремучею дубравой... 112
*Путь во мраке, путь во мраке... 112
Незабываемая встреча 113
Мы сидели в угрюмой каморке... 114
Дом с привидениями 115
Монархический романс 116
*Я брожу по улицам столицы... 117
*Король Сатурна 117
**Чета влюблённая
на берегу морском... 118

**Видел я воочью... 119
**Из цикла про дядю 120
**...Вот звуки вальса зазвучали... 122
Очередь 123
*Это было никем не замечено... 124
Я увидел между делом... 124
*В театре 125
Распластанный на плоскости стены... 126
Наедине с самим собой... 127
Смерть старого мага 128
*Я устал марать бумагу... 128
*Автобус похоронный... 130
*Уроды 131
Лиловый конь 132

IV

*Гоген открыл Таити... 134
*Лихоборское детство 135
Вечер в Лихоборах 136
Окраины 136
*Баллада о сборщиках утиля 138
Дядя Яша Осташов 139
*Лихоборский вальс 141
*Из поэмы «Лихоборская ночь» 141
Улица 142
*Небо осклизло... 143
Драка 145
*На окраине 145
*Лихоборский сонет 146
Двое 146
Какая ночь! Как ясен небосвод!.. 147
*Бой в подвале 148
*Похоронный марш 148
Свадьба 150
**Дядя Миша на гармонии... 150
*В четыре утра —
я услышал сквозь сон... 152
Сонет коммунальной квартиры 153
Ночной крикун, обжора, забияка... 154

*Песня японских военнопленных 155
Из поэмы «Антон Енисеев» 156
Страна моего детства 156

V

Мои стихи 164
Я Вечности принадлежу. Она... 165
Мне нравятся приёмщики посуды... 166
*Гравюра 168
**Жизнь гравера 169
Художник 169
*Февральская лазурь 170
Двойная луна 170
*Одинокое окно 171
*Как всем известно, человек... 172
Пещерные люди 173
*Памяти моей первой любви Л.А.К. 174
Объяснение 175
Вечер на ипподроме 176
Японский нож 178
*Еврейская эскадра 179
*Кошачий сонет 180
Котёнок 181
*Над городом щербатая луна... 182
*Бронтозавр 183
*Видел я немало лошадей... 184
*Брат, открой! Свирепая метель... 186
*Человек с головой коня 187
*Бездна 188
Я ненавижу слово «мы»... 189
Как золотые липы хороши... 190
Весна 191
Вот весна пришла опять... 191
*Автопортрет 192
Вот наконец прошёл и я... 193
Без бороды — что за козёл?.. 195
*В моей каморке холодно и сыро... 195
*Гравёр 197
Засветилась плешь на темени... 197

Хулителям 198
*О творчестве 198
*Тишь 199
*Новый день 199
Из поэмы «Антон Енисеев» 200
Из поэмы «Антон Енисеев» 202
*Утренний гость 203
Чирикают птички, и утро такое... 203
*Тлеет небо, лужи, сырость... 204
**Сонет Коле Устинову 205
Устав от рисованья... 206
Что-то важное забыл я... 207
С отчаяньем бороться всё трудней... 208
*Я разложил костёр на пустыре... 209
*Тоска 210
Коль сад зима обременила... 211
Не в бою, не на дуэли... 212
Кто-то станет у штурвала... 213
*Прощание 214

VI

Тиранозавр 217
Чудесный старец 221
Романсы и басни 222

VII

Чёрное и белое 228
История первой любви 236
О лошадях и людях 237
Как я был шпионом 239
Как я был китайцем 240
Галка 242
Ушиблен пропагандой 243
Псилоцибин 244
Из записных книжек 244

VIII

- Записки младшей сестры* 252
«Я весь — огромный штихель...» 267
О Владимире Ковенацком 279
От составителя 281

Графика

- Рисунок б/н 6
Рисунок б/н 8
Деревья 9
Ужас 11
Единорог 12
Филин 15
На распутье 17
Дорога в Никуда 19
У всех людей есть ноги... 20
Ручей 23
Капитан Ахав 24
Утраченный рай 27
Продавец шаров 29
Город 30
Два кота 33
Пророк в пустыне 34
Дождь 35
Персонажи драмы «Бредоград» 35
Бредоградское приветствие 38
Удивление провинциала 38
Илл. к драме «Бредоград» 39
Атака крыс 39
Илл. к драме «Бредоград» 40–42
Вождь 44
Илл. к стихотворению 46
Слушают «Голос Америки» 48
Уцелевший 51
Поход 53

- Салага 56
Война (Пулемётчик) 58
В атаку! 59
Илл. к роману А. Барбюса «Огонь» 61
Рисунок б/н 62
Из цикла «Смерть среди нас» 65
Иные миры 66
Встреча 69
Клоун 69
В кафе (Из цикла «Смерть среди нас») 70
Тропа кентавров 74
У костра. Посёлок кентавров 75
Ночной сторож 78
Поздний вечер 81
Официант 82
Грузовик 84
По наклонной плоскости 85
Естественный человек 87
Рисунок б/н 88
Полевые испытания 89
На прогулке* 90
Ночная встреча 91
Рисунок б/н** 92
Искатели истины 94
Убийца 96
В Ленинке 97
Охота на буню и дракончика 99
Застолье 100
Рисунок б/н 101
Ночной посетитель* 103
Фрагмент рисунка «В полёте» 105
Игра дракончиков
 в Малом Сукином переулке 109
Играющий тренер 110
Атлант и кариатида*** 113

* Из каталога «Графика Ковенацкого», Нью-Йорк, 1985.

** Из коллекции Л. Кропивницкого.

*** Из коллекции М. Алшибая.

- Поминки **114**
 Поцелуй **119**
 Ну, погоди!* **121**
 Несут* **124**
 Рисунок б/н **126**
 Рисунок б/н **127**
 А. Блок. Незнакомка **129**
 Улица* **130**
 Кораблик* **131**
 Возница **134**
 Детство **135**
 На троих (из цикла
 «Смерть среди нас») **137**
 Гасенкины **138**
 Дядя Яша **139**
 Дайте ребёнку водки! **140**
 Зюзино **143**
 Илл. к стихотворению **144**
 Погоня **146**
 Подворотня **147**
 Попал **148**
 Музыканты **149**
 Гармонист **151**
 Дух унитаза **153**
 Городской пейзаж **155**
 Моя свинья **156**
 Гудок **157**
 ЧП в Лихоборах **158**
 Тётя Поля **159**
 Сон Алика **160**
 Вечеруха **160**
 Охота на Жар-птицу*** **161**
 Не пошло (антиалкогольный плакат) **161**
 Фрагменты к композиции «Маятник» **162**
 Приём посуды **167**
 Линогравюра б/н
 (обложка к альбому гравюр) **168**
 Последняя сигарета **171**
 Пробуждение Адама **172**
 Кони **176**
 Голова коня **177**
 Ночь принадлежит нам **180**
 Чёрный кот **181**
 У телевизора **182**
 Зима **185**
 Вопиющий в пустыне **186**
 Сусанна и старцы **191**
 Автопортрет **193**
 Вы понимаете, доктор? **194**
 В мастерской **196**
 Пикейные жилеты **198**
 Володя дома? **201**
 Мамлеев **203**
 Мы с Юрой гуляем ночью **204**
 У окна **207**
 Вдохновение **208**
 Линогравюра б/н **211**
 Илл. к «Тиранозавру» **216**
 Фронтиспис к «Романсам и басням» **223**
 «Фото» на память **233**
 Обложка рукописной книги **228**
 Перебои с электричеством **247**
 Автопортрет с котом **267**
 Переплёт*
 Приходите к Владимиру Ковенацкому
 выпивать и закусывать!
 (передняя сторона)
 На юге (задняя сторона)
 На форзацах
 В полёте
 Глаз

* В части тиража на передней стороне
 воспроизведён фрагмент указанной гравюры,
 а на задней стороне — гравюра целиком (при
 этом рисунок «На юге» не воспроизводится).

В издательстве Владимира Орлова под маркой «Культурный слой» также вышли:

Юрий Смирнов

Слова на бумаге
(стихотворения, записи, наброски)
М., 2004, 480 с., ил.
ISBN 5-98583-001-2

Евгений Кропивницкий

Избранное:
736 стихотворений + другие материалы
М., 2004, 672 с., ил.
ISBN 5-98583-002-0

Леонид Виноградов

Жалостные стихи
М., 2004, 48 с.
ISBN 5-98583-003-9

Евгений Хорват

Раскатанный слепок лица
(стихи, проза, письма)
М., 2005, 496 с., ил.
ISBN 5-98583-004-7

**Антология новейшей русской поэзии
у Голубой Лагуны, Том 1.**

Сост. К.Кузьминский, Г.Ковалев.
Изд. 2-е. М., 2006, 540 с., ил.
ISBN 5-98583-005-5

Анатолий Маковский

Чемодан
(Стихи из утраченного чемодана)
М., 2006, 60 с.
ISBN 5-98583-006-3

Владимир Абрамович Ковенацкий
Альбом стихов, рисунков и гравюр

Дизайн,
подготовка иллюстраций
и верстка
И.Э.Бернштейн

Подписано в печать 11.04.2007.
Формат 70×100/12.
Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Кезлонг».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 24.
Тираж 1000. Заказ №

Издательство

«Культурная революция»

Адрес:

Москва, ул. Мясницкая, д. 9/4, стр. 1

Телефон/факс: (495)6218471

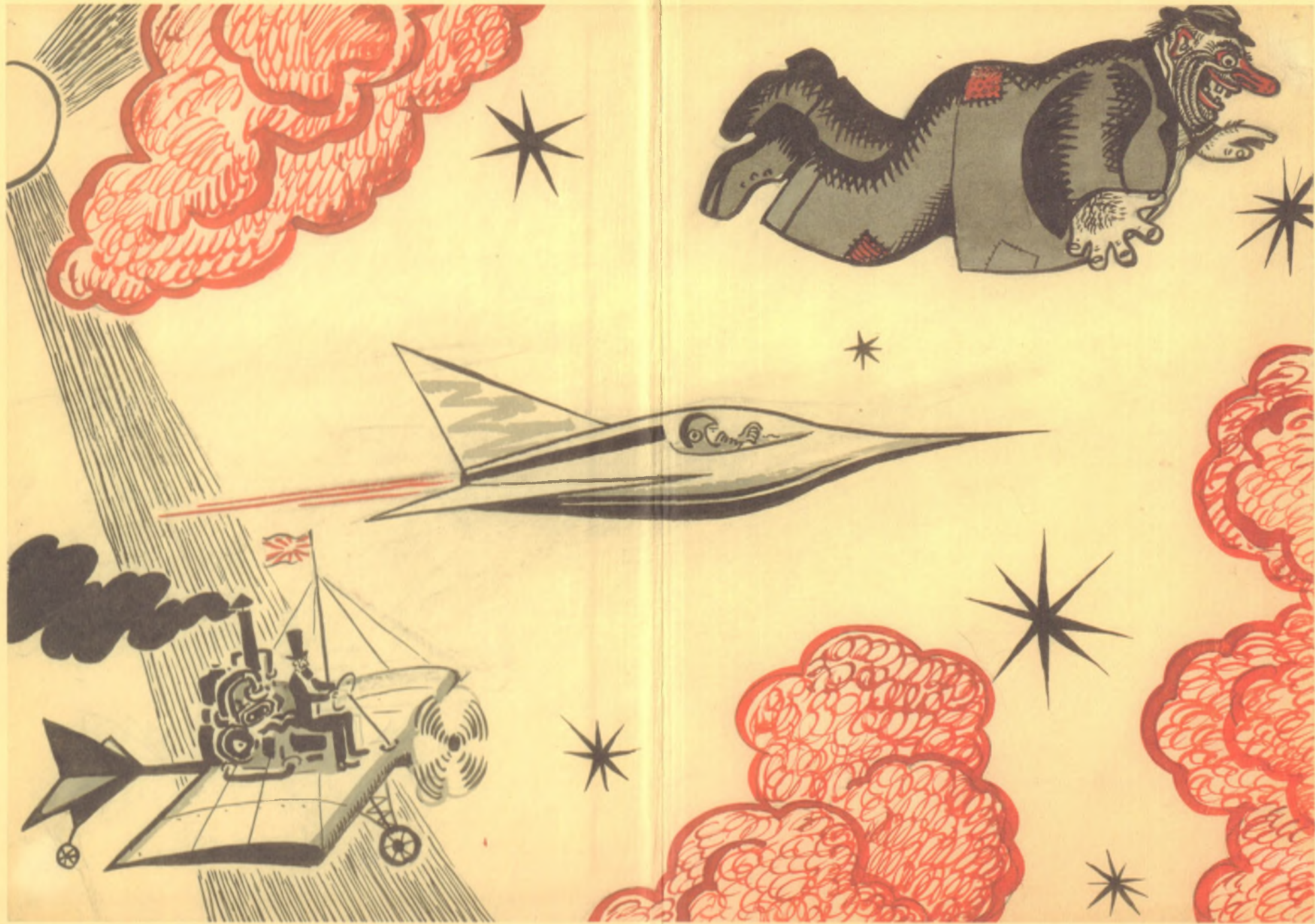
E-mail: editor@kultrev.ru

Полиграфический комплекс «М-КЕМ»

Телефон (495)9335900

E-mail: info@a-kem.ru

<http://www.a-kem.ru>







ISBN 978-5250060-15-8



В. КОВЕНАЦКИЙ

Альбом
стихов,
рисунков
и гравюр
Владимира
Ковенацкого

